

**ПЕТР  
ПОЛЕЖАЕВ**

ПРЕСТОЛИ  
МОНАСТЫРЬ

Россия державная

Петр Полежаев

**Престол и монастырь**

«Public Domain»

1880

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Полежаев П. В.**

Престол и монастырь / П. В. Полежаев — «Public Domain»,  
1880 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03391-9

Петр Васильевич Полежаев (1827–1894) – русский писатель-романист. Родился в Пензе. Прославился как автор цикла романов «Интриги и казни» из истории XVIII столетия, в котором рассказывается о трагической борьбе за трон Российской империи. В данном томе представлен роман Полежаева «Престол и монастырь» – о подавлении стрелецкого бунта. Это увлекательное историческое повествование о борьбе за власть после смерти царя Федора Алексеевича. В нем на фоне восстания стрельцов показаны судьбы известных исторических личностей – царевны Софьи Алексеевны, юного Петра и других.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03391-9

© Полежаев П. В., 1880  
© Public Domain, 1880

## Содержание

Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	10
Глава III	15
Глава IV	19
Глава V	22
Глава VI	27
Глава VII	32
Глава VIII	37
Глава IX	42
Глава X	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# **Петр Васильевич Полежаев**

## **Престол и монастырь**

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

\* \* \*

## Часть первая 1682 год

### Глава I

Поздним вечером последних чисел августа 1681 года, в одном из теремных покоев московских царевен велся весьма оживленный разговор двух лиц – молодой женщины, лет двадцати пяти, как видно, из царского семейства, и уже пожилого московского боярина. Молодая женщина – царевна Софья Алексеевна, боярин – Иван Михайлович Милославский.

Наружность Софьи Алексеевны не могла назваться красивой. Стан, при начинающейся полноте, не стесняемый костюмом того времени, не выказывал той женственности и грации, которые так присущи ее возрасту. Лицо бело, но широко и с чертами, не выдающимися ни тонкостью линий, ни их правильностью. Только одни глаза выделялись, и то не приятностью очертаний, а глубоким, умным выражением, обильным внутреннею силой, умевшей выражать то приветливую, душевную ласку, то холодную власть. За исключением же этой характеристической черты, царевну можно было бы принять за натуру обыкновенную, дюжинную, с сильным золотушным оттенком.

В наружности Ивана Михайловича Милославского, при внимательном наблюдении, сказывалась натура эгоистическая, вдосталь насыщенная только собственными своими интересами, глубоко изоциренная в проведении разнообразных интриг и придворных козней, – как и всех почти зауряд бояр доброго допетровского времени. Одна только черта резко бросалась в глаза в наружности боярина и царского свойственника, это – сильное развитие нижней части лица, указывавшее на преобладание чувственности.

– Каково здоровье государя, нашего батюшки Федора Алексеевича? – спрашивал боярин царевну Софью Алексеевну.

– Плохо, Иван Михайлович, очень плохо. Ты знаешь, он здоровьем-то с измалолетства был слаб, а теперь еще хуже. Все еще он не может оправиться после кончины государыни Агафьи Семеновны, которой вот завтра будет только сороковой день, да к тому ж, как ты знаешь, на другой день Ильина умер и сынок Ильюша.

– Знаю, государыня, и болезную. Тяжкое это несчастье для всех нас.

Боярин задумался, потупился, изредка закидывая пытливые взгляды на царевну.

– Прошлого не воротишь, царевна, мертвых не воскресишь, надо подумать о будущем.

– Я и то думаю, боярин. Теперь брата лечим усердно, сама, без усталости, хожу за ним, никому не доверяю, сама и лекарство подаю. Немчик-лекарь из кожи лезет – старается, да все толку мало.

– Ну, будет ли толк или не будет, царевна, на все воля Божия. Немец, оно конечно, лекарь, знает свое ремесло, а все же не Бог; да ведь и за ним надо примечать. Неужто забыла, государыня, Артамона Матвеева?

– Не бери лишнего на душу, Иван Михайлович, Артамон не был виноват. Он был лишний нам человек, больно уж стоял горой за мачеху и надо было его удалить, а в умысле извести царя он не виноват.

– Как не виноват? А отчего же не хотел сам отведывать всякого лекарства, прежде чем подавать государю?

– Да ведь у всякого лекарства, боярин, свое свойство. Иное приносит больному пользу, а здоровому вред.

– Оно, может, и правда твоя, государыня, да все не мешает быть поопасливей. У Нарышкиных глаза зоркие и руки длинные.

Наступило несколько минут молчания. Боярин, видимо, колебался, хотел спросить об чем-то и не решился.

– А что, царевна, – и голос боярина почти спустился до шепота, – если да царь, наш батюшка, помрет, ведь все мы ходим под Богом, – как ты об этом изволишь?

– И полно, боярин, братец слаб здоровьем, но, Бог даст, оправится, да и теперь ему полегчало. Я надеюсь, он скоро совсем оздоровеет, и тогда уговорю его жениться, да, кажется, у него уж и ноне есть на примете невеста.

– А можно спросить, государыня, из какого рода суженая?..

– Сиротка, Иван Михайлович, Марфа, дочь покойного Матвея Васильевича Апраксина, убитого калмыками, кажется, лет тринадцать назад. Братьев ее, Петра, Федора и Андрея ты знаешь. Они комнатными стольниками у братца государя.

– Апраксина... Апраксина, – повторял раздумчиво Иван Михайлович, – ладно ли это будет, царевна? Ведь, кажись, Марфа-то Матвеевна крестница Артамонова, да и все Апраксины не из нашей статьи... они норовят нарышкинцам и артамонцам. Не по наущению ли братцев суженой царь указал воротить Артамона из Мезени в Лухов и обратить ему все его вотчины, московский дом и пожаловал дворцовое село Ландех в семьсот дворов? От Лухова и до Москвы недалеко.

– Не так близко, боярин, не ближе Мезени. Да пока жив братец и я подле него, Артамону не бывать здесь на очах у царя.

В голосе царевны слышался тон твердой решимости, обдуманной и холодной.

– Думаю я, царевна, не о себе. Правда, Артамон мой ворог кровный, он меня сослал и от царского двора, да у нас свои счеты и мы сведем их со временем. А теперь заботит меня твое царское положение и всех сторонников наших. Была наша семья в чести и в славе и в царском жалованьи при покойном твоём родителе царе Алексее Михайловиче, а потом что вышло? Кто из нас был сослан, а кто хоть и уцелел, так все-таки должен был уступить место новым пришлецам, подручникам какой-то бабы бездомной, голи перекаточной. Пошли новые порядки, старых слуг отгиснули, явились выскочки из борку да из-под сосенки и забрали все в руки, а мы, царские ближние, должны были спину гнуть перед какими-нибудь Нарышкиными. Ведь больно, царевна... Посмотри на свое положение. Теперь ты в чести, братец царь Федор Алексеевич слушается тебя, ты всем заправляешь, как и прилично по высокому разуму твоему, а отдай братец Богу душу свою, что из тебя сделают вороги нашего дома... ототрут, как последнюю челядь, а не то так и совсем запрут в монастырь. Не из какой-нибудь лихой корысти говорю я тебе так, царевна, а из нелицемерной преданности твоим и нашим интересам.

Странно подействовала речь боярина на молодую женщину. Не бросилась ей краска в лицо, не живее потекла по жилам горячая кровь, не заколыхалась грудь, не дрогнула она ни одним нервом, а только как будто брови немножко посодвинулись, складочки вертикальные обозначились на лбу, да лицо стало побледнее и холоднее.

Несколько минут продолжалось молчание, как обыкновенно случается после живо затронутых жизненных, основных вопросов, решение которых скрывается в далеком неизвестном будущем.

– Ну, сколько страхов наговорил ты, Иван Михайлович, хорошо, что я не робкая. Грозен сон, да милостив Бог! Вот и братец, может, встанет, женится, будут дети, сын... наследник.

– Хорошо, кабы так, царевна, ну а если...

– Ну тогда... тогда... да кто знает, что будет? Одно только могу сказать, что не уступлю мачехе, не дам ей властвовать и мудровать, как бывало при покойном батюшке. И у меня есть люди преданные и сильные.

– Немного их, царевна, да и те верны только до времени, до черного часу. Все они будут на стороне предержавшей власти, а власть заломают в свои руки нарышкинцы.

– Никогда, боярин, сын у мачехи ребенок, а мой брат Иван старший царевич. Если он болен, слеповат и скудоумен, так ведь болен и Федор, а царствует же с моими советами. Точно так же будет править и Иван под моим руководством. Не читал ты, боярин, об императрице Пульхерии?

Боярин молчал, но, казалось, остался доволен ответом; даже насмешливая улыбка пробежала тайком под рукой, гладившей усы и бороду.

– Да полно говорить об этом, Иван Михайлович, – продолжала царевна, – скажи-ка лучше, что слышно в городе?

– Все по-прежнему. Посадские в тревоге: стрельцы волнуются. Слышал я, государыня, будто мутится Грибоедовский полк и будто его поддерживают и другие полки, собираются кругами...

– Спасибо, боярин, что напомнил. Я посоветуюсь с Васильем Васильевичем.

– Что тебе, государыня, дался все Василий Васильич да Василий Васильич. Не больно ты ему доверяйся: скрытная он душа... Нет в нем нашей старинной боярской чести. Уж что он за родовитый человек, когда у него пошевелился язык советовать батюшке государю уничтожить нашу службу боярскую, пожечь разрядные книги.

– О князе прошу тебя, боярин, вперед никогда со мной не говорить. Не понимаешь ты его, да и мало кто его понимает.

– Как не понять! Человек, который отрекается от своего отца и матери, от дедов и прадедов...

– Нет, боярин, неправда, – с непривычной живостью перебила его Софья Алексеевна, – не отрекается он ни от отца, ни от матери, ни от предков своих, а смотрит он пошире, чем мы с тобой, видит подальше и понимает, что есть многое подороже своей корысти и чести предков.

– Однако прощай, царевна; прости, если я сказал тебе что не в угоду. Поверь – по преданности.

– Охотно верю, боярин. Ведь у нас с тобой общие предки, стало быть, и смотренье одно, – говорила Софья Алексеевна, улыбаясь и провожая гостя.

По уходе боярина Милославского царевна несколько минут прислушивалась к шуму удаляющихся шагов гостя, потом быстро пошла в свою опочивальню и позвала к себе ближнюю постельницу Федору Семеновну.

Федора Семеновна, казачка, по прозванию Родимица, не заставила себя долго ждать. Это была женщина средних лет, с мелкими чертами лица, востреньким носиком и бойко бегавшими глазками, – вообще не красива и не дурна, не глупа и не особенно умна. Давно служившая своей госпоже, она свыкла, прилипла к ней. Безграничная преданность, редкое и случайное явление ныне, не было редкостью в то время, когда интересы служащих были так узки и коротки, так поглощались интересами господскими. Федора Семеновна напоминала собой те выющиеся около дерева растения, которые из коленец своих запускают корешки в кору своей крепкой опоры. От госпожи своей она не отделяла своей личной радости, своего горя, и в ней она свила себе теплое гнездышко. Кроме беззаветной преданности, Федора Семеновна отличалась еще особым весьма драгоценным качеством: чутьем ищейки. Не рассуждая, не входя ни в какие более или менее тонкие соображения, она каким-то нюхом ощущала все касающееся до своей госпожи, предана была друзьям ее, ненавидела врагов и недоброжелателей. Мало того, что она ненавидела последних, она чутьем слышала их приближение, как собака чувствует приближение волка.

– Ну что, Федора Семеновна? – с тревожной торопливостью спрашивала царевна. – Видела ты Василья Васильича? Что он? Как? Здоров?

– Видела, государыня матушка, князя, самого его лично видела, изволит тебе низко, земно кланяться. Слава богу – здоров.

– Отдала ему письмо?

– Отдала самому ему в руки. При мне он и прочитал его, лицо таково просветлело и глаза будто заиграли.

– А хорош он, Федора Семеновна, краше его нет никого у нас в Москве?

– Хорош-то хорош, государыня, да, по-моему, не рука он тебе, – протянула постельница.

– Как не рука? Разве он не умен и не пригож?

– Пригож и умен, родная, да не под стать тебе. Уж если позволишь сказать правду, так не совсем у меня и сердце-то к нему лежит. Первое слово – любит ли он тебя, как надо бы, а второе – судьба его уж покончена с законной женой и детьми.

– Так что ж, что женат, – разве развести нельзя? Бывали нередкие примеры. Не захочет жена доброй волей постричься, так неволей запрут в монастырь.

– Ну, государыня, это дело нелегкое. Кого Бог соединит, того человек не разлучает. Да и то еще подумай: положим, он княжеского рода, да все же не царского. И родня твоя вся не потерпит этого: царь, братец твой, и старшие твои сестрицы и тетушка Татьяна Михайловна. Как хочешь, а царскому роду зазорно.

– Зазорно, говоришь ты, Семеновна, да, зазорно, а по-Божьему справедливо ли? – с нервным раздражением заговорила царевна. – Вот другие девушки хоть в Божий храм ходят Богу помолиться, все-таки народ живой видят, а мы сидим, век свой сидим взаперти, точно птицы в клетке, света не видим, волюшки своей не имеем, в церковь когда входим, так все скрытыми переходами, тишком да закрывшись, а ведь и в нас такое же сердце, так же кровь бежит, как и в других. И такое заведение только у нас одних, в чужих землях женщины и царского рода имеют везде свободный доступ.

– Да ведь то, матушка, у басурманов, на то они и нехристи, а у нас, православных, всегда женщины, а пуще царского рода, как жемчуг драгоценный хоронились.

– Было так, да вперед не будет, – перебила ее царевна. – Не у одних басурманов женщина вольная птица, вот и у эллинов в Царьграде – даже царством правили.

– Мне не сговорить с тобой, государыня, не моего ума дело. Ты обучена разным наукам, а я человек темный и знаю только, что я твоя раба верная: прикажешь что – все выполню по приказу без хитрости и лукавства, без жалобы и нескромного слова.

– Я и люблю тебя, Федора Семеновна, больше других и не таюсь перед тобой ни в чем. Разговор затих.

– Поздно теперь, государыня, – заговорила постельница, – пора тебе и опочивать, позволь я раздену.

– Нет, Федора Семеновна, поди, спи спокойно, а я сама разденусь. Спасибо за службу. Федора Семеновна направилась из опочивальни.

– А отчего, Семеновна, князь ответа на письме не прислал? – спросила царевна уходившую постельницу. – И когда мы свидимся?

– Нельзя было, государыня, ему ответ писать, какой-то непростой гость с важными делами его дождался в приемной комнате, должно быть из посольских. А увидится он с тобой завтра на докладе у государя.

Ну прощай же, родная моя государыня, спокойной тебе ночи и золотые сны увидеть. Постельница вышла.

## Глава II

Взволнованные нервы царевны Софьи Алексеевны долго не могли успокоиться. Спать не хотелось. Быстро раздевшись и порывисто побросав в беспорядке верхнюю одежду, царевна подошла к окошку терема и отворила его.

Освежающий воздух широкой волной хлынул в душную комнату. Молодая женщина остановилась у открытого окна, бессознательно любуясь на дивную панораму, раскрывшуюся перед глазами. С жадностью глотая прохладу, она невольно поддавалась успокаивающему влиянию прелестной летней ночи. И действительно, если что еще в силах успокаивать возбужденные нервы, утишать лихорадочное волнение крови, умиротворять бурные страсти и тревоги человека, так это таинственная мирообильная красота отдыхающей природы. Вид из окна представлялся очаровательный. Вдали, в Замоскворечье, в мягких волнах матового лунного света, среди темных гущ листвы окружающих садов, выделялись жилища слобожан; ближе серебристой лентой прорезывалась между неровными берегами река, местами загроможденная плотами и судами, у бортов которых однообразно журчали набегавшие струи. Вправо поднимался к небу Божий храм с блестящим в вышине золотым крестом, как будто указывающим на единственно верное упокоение там, в недосыгаемой, бесконечной выси. А там, еще дальше, еще выше над крестом, над жилищами людскими, над вечно бегущей людской суетой беспредельно широко раскинулось небо, в темной глубине которого мерцали и сверкали мириады звезд. А кругом такой ароматный ласкающий воздух, такие живительные струи ветра! Тихо... беззвучно... изредка только то там, то сям послышится лай испуганной дворовой собаки. Улеглись на несколько часов людские волнения, затихли человеческие звуки, только кое-где проносятся окрики недельщиков, часовых и караульных, да не то песня, не то брань какого-нибудь запоздалого гуляки.

И все мирнее и светлее в взволнованной душе царевны. Постепенно стали отодвигаться назад все тревожные вопросы дня, бледнели и умалились все минутные интересы и вместо них возникали в памяти дорогие для каждого образы прошлого.

Припомнилось царевне бесцветное, но вечно милое детство на руках у нянюшек и мамушек, под заботливым взором нежной и любящей матери. Весело было это детство в кругу большого семейства восьми сестер и четырех братьев, правда хилых и слабых, но дружных между собою. Да и нельзя им было быть недружными, для всех для них одинакова была материнская ласка, одинаково нежен поцелуй и для всех одинаково любящее самоотверженное сердце матери. Эта любовь отзывалась и в их ребяческих сердцах. Любили и они мать свою чисто и глубоко. Резко и ярко рисовался в памяти царевны задумчивый облик матери, нежно склоненной над ее детской кроваткой, тихо шептавшей горячие молитвы и так любовно благословлявшей ее. Затем вспомнился царевне черный и несчастный день. В дворцовых теремах, всегда спокойных и чинных, вдруг началась какая-то необычная беготня и суета, потом все как-то страшно выжидательно стихло, потом прозвучал дикий раздирающий крик, крик матери их, и потом все смолкло. Новый ребенок явился к ним в товарищи, но этот ребенок уже был сирота. Больше она не видела лица матери, но любовь к ней сохранилась, прошла за весь последующий период и теперь даже остро и болезненно отразилась в захоловушем сердце.

Вспомнила потом царевна время, – хотя ей было тогда с небольшим десять лет, – потянувшееся после смерти матери, место которой заступила старшая верховая боярыня, царская нянька Анна Петровна Хитрова. Ласкова была и боярыня, да не ласковой матери, учила и она Богу молиться и всякому добру, да как-то не так, как-то иначе. Вместо всеобильной любви явилась любовь односторонняя, любовь партий, вместо ясного взгляда на жизнь явились разные внушения, наущения и интриги.

Со смертью матери и любовь отца хоть не изменилась, но приняла другой оттенок. Подходил он по-прежнему к ее детской кроватке благословлять, да не так уже любовно и кротко, как бывало прежде. От государевых ли дел и забот, но только день ото дня дальше становился отец от детей, а сердце девочки подмечало, болезненно ныло и тосковало.

Пришла пора усадить девочку за грамоту. Она понимала бойко и быстро. Скоро и далеко опередила своих сестер и братьев под руководством опытного наставника, приставленного к брату Федору, знаменитого Симеона Полоцкого. Без особенного труда выучилась читать, писать, Закону Божию и всякой эллинской премудрости. Но никого не радовали ее успехи, мало того, отцу даже отчасти неприятно было, когда девочка опередила брата, объявленного наследником престола Алексея.

Через два года после смерти матери опять новая перемена: с какой-то нескрываемою злостью боярыня Анна Петровна объявила детям о решении отца государя вступить в новый брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной.

– Вот и заведет новая государыня новые порядки и плохо нам будет, милые детки, от недоброй мачехи, – жалобно говорила верховая боярыня, и врезались эти слова в головку развитой девочки и посеяли в ней семена непримиримой ненависти к новой матери, ненависти еще неопределенной, но сильной еще более по затаенности своей. Новых порядков не наступало, но каждое незначительное изменение и отклонение стало объясняться недоброжелательным влиянием новой царицы на государя в ущерб детям от первой жены.

Да, впрочем, была и существенная перемена, но только не вследствие недоброжелательности мачехи, даже, может быть, против ее желания. Полюбив молодую и симпатичную Наталью Кирилловну, Алексей Михайлович естественно предался ей всей душой и тем самым отдался от болезненных детей умершей жены. Отдалению еще более способствовало рождение такого здорового ребенка, каким был Петр. И это живо понималось понятливой девочкой, и злобное чувство выросло все больше и больше.

Стала формироваться девочка, вместе с ней формировалась в более определенные очертания и ненависть к новым приближенным отца. Реже стал призывать к себе отец государь больных детей, только по вечерам по приказу его являлись в его хоромы на разные комедиантские представления, на музыку и рассказы бывалых людей здоровые в то время дети, а в числе их, разумеется, и она – Софья, более других бойкая и здоровая. Но не сближали эти представления отца с детьми. Девочка видела его постоянно окруженным заклятыми врагами покойной матери, а, следовательно, и их самих, по объяснению матушек и нянюшек. Увидеть же отца одного, рассказать ему свое горе, выплакать у него на груди свое наболевшее сердце не было возможности: всюду эти Нарышкины и этот исконный враг их дома – Матвеев, из дома которого явилась мачеха. Умиротворяющего наставника не было, кругом все замкнуто, в их терем не мог проникнуть никакой посторонний нескромный глаз, и оставалась девочка вечно в заколдованном кругу тех же нянек и мамок, нашептывающих злобно на новых появившихся людей.

Под таким влиянием сформировалась она уже взрослой девушкой с полным, до тогдашнему времени, образованием и с хорошо развитыми способностями, дававшими ей перевес и влияние над сестрами и братьями. Сознала это она сама и тесно ей стало в четырех стенах, в среде неразвитых, по большей части тупоумных, сенных девушек и мамок. Не могли удовлетворить ее ни их красивые, затейливые механические рукоделия, ни их обычные сплетни и рассказы. Пробудившиеся силы требовали жизни, широкой деятельности и борьбы.

Прошло еще несколько лет. Вдруг ее поразила неожиданная и негаданная весть о смерти отца, бывшего и больным-то только всего несколько дней. Как подействовала на нее эта весть? Помнит она, что в первое мгновение это несчастье как-то ошеломило ее, придавило, как будто что-то близкое, часть своего существа, оторвалось от сердца, а затем второе чувство, и она не

может этого скрыть от самой себя, второе ощущение было ощущение облегчающее, как бывает от струи свежего, прохладного воздуха в душной, запертой комнате.

Государем делался брат ее Федор, моложе ее тремя годами, больной, слабый, одаренный способностями, но податливый к ее влиянию. И воспользовалась она этим влиянием вволю. Переступила она запертые двери, пошла свободно и гордо по царскому дворцу сначала под видом ухаживания за больным любимым братом, а потом советницей его, разделявшей с ним бремя правления. Артамон Матвеев, как главная опора Нарышкиных и самый опасный человек по уму и дарованиям, был сослан сначала в Пустозерск, а потом в Мезень. Не пропали даром уроки эллинской истории об императрицах Пульхерии и Евдокии. Стала она присутствовать почти постоянно на докладах царских против обычая, рассуждать, и решать вопросы по своим личным убеждениям. На этих-то докладах в первый раз заговорило иным языком ее девическое сердце.

Часто встречала она на совете у брата князя Василья Васильевича Голицына, которому в то время не было еще и сорока лет. Его ласковые, манящие глаза, приятные, правильные, ничем резко не выдающиеся черты лица, мягкий, прямо западающий в душу голос, непринужденные, ловкие манеры, отделяющиеся от неуклюжих манер других бояр, производили приятное впечатление. Часто и с особым вниманием вслушивалась она в его речи, с особым расположением останавливались на нем ее взгляды, и без ведома ее новое чувство незаметно закрадывалось в сердце.

Раз утром, памятным для нее утром, не отмеченным никаким важным серьезным событием, но навсегда глубоко врезавшимся в ее памяти, она сознала свою любовь и без всякой борьбы, без всякого колебания отдалась своему новому чувству.

Пустой, ничтожный случай.

Князь докладывал, государь слушал, казалось, с утомлением, прищуриваясь близорукими глазами; слушала со вниманием и царевна. Заглядевшись на докладчика, она не заметила, как с ее колен соскользнул платок и упал на пол, но князь заметил и поднял его, при этом рука его коснулась ее руки. Ярким румянцем, пробившимся сквозь едва заметный слой белил<sup>1</sup>, загорелись не только щеки, но даже лоб и плечи ее. С неудержимой силой заколотилось сердце, грудь поднялась высоко под широким покровом, и в глазах показались слезы. Она порывисто встала и вышла.

– Вот как разгорелась, родимая, – встретила ее мамушка в светлице, – вижу, что сглазу, дай-ко я тебя умою с уголька и надену на тебя монисто с корольковой пронизью<sup>2</sup>, а все оттого, что ходишь туда, не девичье дело...

Но царевна с уголька не умылась и сглаза не побоялась.

Доклады продолжались обыкновенным порядком, и ни разу она не пропускала их. Все ближе и ближе подходила она к нему, все чаще и чаще становились их, по-видимому, случайные встречи; все смелее и решительнее становились они в отношениях друг к другу: то снова упадет платок, то оба они вдруг потянутся к склянке лекарства для больного, то оба они вместе поспешат поправить подушку у брата, то интерес доклада заставит внимательнее вслушиваться и ближе садиться к докладчику.

Раз государь, чувствуя себя особенно нехорошо, просил сестру прослушать князя без него. Царевна назначила князю быть утром на другой день у ней в терему.

---

<sup>1</sup> По общему свидетельству всех иностранцев, бывших в России в XVI и XVII вв., все русские женщины белили лица и плечи, румянили щеки, красили волосы, брови, ресницы и даже пускали черную краску в самые глаза в виде особого состава из металлической сажи с гуляфною водкою или розовою водою.

<sup>2</sup> Монисто – шейный убор, золотое ожерелье с золотыми привесками на гайтане (снурке). В старинных лечебниках о корольковом монисте говорится: «Аще который человек на монисте кралка носит, того колдование и иное никакое ведовство не имеет, а как тот человек позанемовет, то кралки красные белети станут, а как поздоровеет тот же человек, так кралки опять станут черны... От тех же кралков дух нечистый бегаёт, понеже кралек крестообразна растёт». Домаш. быт рус. царик: И. Забелина. М. 1869 г.

Памятно ей это утро и будет памятно и дорого до конца жизни. С особенным тщанием умывалась и убиралась она в это утро, с особенным искусством распущены были по плечам ее роскошные волосы, подвитые локонами. В назначенный час князь пришел, но об чем он говорил, какой вопрос разбирал, она ничего не слыхала, она только всматривалась в милые черты, только вслушивалась в звуки очаровательного голоса.

Кончилась речь князя, царевна одобрила и задумалась.

– Ты сегодня печальна, государыня, – заговорил мягкий участливый голос князя.

– Да, грустно, князь, брат все хилеет, а с его смертью я лишусь единственного человека, который меня любит.

– Ты ошибаешься, царевна, – и в голосе князя звучала особенная нежность, – нет, ты не права. У тебя верные, преданные слуги. Я с радостью готов положить за тебя и жизнь и душу свою...

И не успел договорить князь, как она была уже на груди его, без воли ее самой, руки ее обвили кругом его шеи, и губы их слились в горячем поцелуе. Вся целиком стоит эта страстная сцена в задумчивых глазах царевны. И теперь, когда она у открытого окна, и теперь еще горит на губах этот первый страстный поцелуй любви, хотя уже подобных сцен повторялось и после немало. Вся бесповоротно отдалась царевна увлекавшей ее страсти.

Спустя долго после полуночи царевна Софья Алексеевна улеглась в постель и заснула тревожным сном...

По выходе из терема царевен боярин Иван Михайлович Милославский отправился домой в карете, дожидавшейся его в нескольких стах шагах от царского двора. Странное двойственное впечатление произвел в боярине разговор с Софьей Алексеевной. В лице его проступало то удовольствие удовлетворенных надежд, то чувство тревожного беспокойства. Эта же двойственность впечатления выражалась и в тоне немногих бессвязных фраз, вырывавшихся по временам у боярина. «Решилась... да... вряд ли... в Москве Пульхерии... влюбилась... надо отвести», – почти беззвучно шептал он, а между тем целый рой различных комбинаций и интриг созрел в опытной боярской голове.

Карета остановилась у каменного дома Милославского, но только что успел Иван Михайлович сойти с экипажа, как вдруг испуганные лошади круто бросились в сторону, экипаж повернулся и упал набок.

– Что за притча! – удивился боярин. – Лошади смиренные, никогда с ними такого случая не бывало. – И суеверный ум его задался вопросом: к добру ли?

Предмет, напугавший лошадей, действительно представлял собою необыкновенный вид. Из-под тени, откинувшейся от дома, в светлую полосу выдвигалось на четвереньках какое-то дикое, невиданное животное. Вглядываясь в это странное существо, боярин вскоре узнал в нем известного по всей Москве юродивого Федюшу.

Удивительный был этот человек Федюша, и немало толков ходило об нем по Москве. Рассказывали, будто Федюша был сыном одного богатого, торгового человека, красавец собой и известен по грамотности и по бойкости разума, что будто по смерти родителей, лет двадцать тому назад, Федюша повел дела свои еще шире, еще оборотливее. Завидовал ему свой брат торгующий, и всякий из них не прочь был породниться с ним, назвать его своим сыном, но Федюша держал себя гордо, чуждался и не зарился ни на какую девицу. Правда, подмечали соседи, что хоронилась у него в доме какая-то красавица, с которой хаживал он, разговаривая, в своем саду в летние ночи вплоть до утра. Кто была эта девица, как ни старались узнать добрые соседи – не могли, а только заметили, что не очень долго продолжались эти прогулки и живые речи: девица исчезла, а куда – неизвестно. «Должно быть, бежала аль руку на себя наложила», – решили соседи и успокоились. Спустя несколько времени в одно прекрасное утро исчез и сам Федюша, распорядившись, как оказалось, предварительно о передаче всего своего достатка в ближайший монастырь.

Так и пропал он, и вести об нем не было в продолжение лет четырех. Потом по истечении этого времени появился в народе юродивый, вечно бродивший по улицам на четвереньках, в лохмотьях, с босыми ногами и с обнаженной головой, зиму и лето, в трескучий мороз, в дождь и в солнечный припек. Кто был этот юродивый, откуда он явился – никто не знал, да и трудно было признать его. Ноги от постоянного хождения на четвереньках, неестественного положения и переменного влияния разного рода непогоды как-то выворотились и высохли, лицо обросло не то шерстью, не то волосами, взгляд дикий и блуждающий, речь бессвязная, и иногда только в диких звуках. Почему прозвали его Федюшей и кто именно признал в нем бывшего богатого, талантливого Федора Михайловича, до подлинности никто не мог объяснить.

Народ, пораженный неестественностью явления, стал видеть в нем человека Божьего, юродивого, а в бессвязных словах его допытываться прорицательного языка будущего. И вот ходит на четвереньках этот Федюша более десяти лет по улицам московским и днем и ночью без пристанища и без призора, отдыхая на голых камнях церковных папертей. Все обыватели благоговейно чтили Федюшу, ласкали его, разговаривали с ним, полагая открыть в его бессмысленных ответах откровение будущего, но не ко всем он был одинаков. Замечали его какое-то пристрастие к одним лицам и, наоборот, к другим отвращение. В одни дома он любил заходить и бывал подолгу, а в другие дома его и силой нельзя было затащить – пробежит мимо зверь зверем.

Узнав Федюшу, Иван Михайлович приветливо подошел к нему.

– Здравствуй, Федюша!

– У-у-у... – хрюкнул сердито юродивый.

– Устал, чай, Федюша, – продолжал ласково боярин. – Поди, Федя, ко мне на двор, там тебя накормят, и я вышлю тебе алтын.

– У-у-у... не хочу... не хочу... – зарычал Федюша, трясая головой, – не хочу... у-у-у... свиньи бегут... труп везут... не хочу, боюсь... кровь-то... кровь-то... – И юродивый быстро побежал от боярина. «Что бы это значило – „свиньи бегут и труп везут“? Не молвил ли он в свиньях ворогов моих?» – раздумывал Иван Михайлович, поднимаясь по крыльцу.

– Был у меня кто-нибудь? – спросил он, входя во внутренние покои, у дворецкого Сидора Иванова.

– Как же, ваша боярская милость, были Иван Андреич Толстой да племянничек Александр Иваныч. Долго было поджидали, да уж решили пожаловать завтра.

– Хорошо, Иваныч. Ступай спать, а ко мне пришли Груню.

## Глава III

Больной, золотушный Федор Алексеевич умирал бездетным, прожив только 20 лет и 11 месяцев. С кончиной его возникал важный государственный вопрос о престолонаследии.

В древние времена в княжеских волостях наследство волостью переходило по старшинству рода, причем дяди имели преимущество перед племянниками – сыновьями княжившего. С образованием Московского княжества выделился другой взгляд: наследство стало переходить по нисходящей линии от отца к сыну, с соблюдением старшинства и с исключением женского пола. Такой взгляд, по мере формирования государственного начала, все более и более укоренялся и приобретал силу обычая до начала XVII века, когда старый рюриковский дом по прямой линии пресекался.

Смутное время междоусобицы выдвинуло по необходимости опять идею выборного начала, которое, по стечению событий того времени, едва не привело к гибели всего государственного строя. Быстро следовавшие друг за другом Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский и королевич Владислав не оставили по себе почти никакого следа в государственной организации и уже, конечно, не могли содействовать к упрочению государственной формы. Мало того, деятельное вмешательство иностранцев и внутренние раздоры расшатали государство до самого основания, до полного его разрушения, и оно погибло бы, если бы вся предшествующая жизнь не выработала прочно идею национальности.

С избранием Михаила Федоровича национальное дело хотя и было спасено, но поступательному движению народной жизни предстояло еще великое и трудное дело исцеления всех ран, уничтожения множества повсюду возникших беспорядков, неустройств и злоупотреблений.

Как велики были эти неустройства и злоупотребления, как тяжка была жизнь народная, можно видеть из тех ярких явлений, которые продолжались не только в царствование Михаила Федоровича, но и во все тридцатилетнее правление сына его Алексея Михайловича. От внешних войн, бродячих отрядов шведских и польских, от вольности казацкой, от разбойничьих шаек шишей народ обеднел до крайности. Целые поселения лишались всяких средств к существованию и разбегались кто в степи, кто в леса, кто на Волгу-матушку, где становились сами разбойниками. Ощущался недостаток в самом хлебе, так как истреблялся или в полях неприятельскими отрядами, или зарывался в землю самими хозяевами в запас для прокормления себя в будущем. В таком положении оставшимся на своих местах *людшикам*, конечно, платить податей и отбывать повинность было не можно, а между тем расходы государственные на содержание ратных людей и другие потребности возрастали в значительном размере. Затем, кроме этих законных поборов, существовало еще более поборов незаконных – взяток местных правителей, воевод, наместников и дьяков, пользующихся нетвердостью правительства и потому уверенных в безопасности. Каким же влиянием пользовались бояре, можно видеть из следующего примера: в царствование Федора Алексеевича стряпчий из дворцовых волостей Юрьевца Повольского Терентий Копытов сослан был из Москвы в Нерчинск «по приказу бояр, без царского указа». Сам Копытов рассказывает, что на Москве вся воля боярская, что бояре хотят, то и делают.

Казна была истощена. Правительство, нуждаясь в деньгах, должно было прибегать к различным средствам. Оно то принимало на себя продажу богомерзской травы (табака), то увеличивало пошлину на соль, то выпускало медные деньги вместо серебряных. Подобные меры, конечно, не только не поправляли зла, но некоторые из них положительно еще более усиливали его, еще более разоряли и без того ободранный народ. При таком общественном положении должны были являться, и действительно являлись, непрерывные народные волнения, восстания и бунты, продолжавшиеся в течение почти всего XVII века. В царствование, напри-

мер, Алексея Михайловича происходили более или менее серьезные и опасные восстания в разных частях государства: в 1648 году 21 июня в г. Сольвычегодске, 8 июня в г. Устюге, потом в Новгороде и Пскове, в Соловецком монастыре (1668), на Волге – Стеньки Разина и, наконец, в самой Москве. И все эти восстания возникали положительно от грабительства правительственных лиц. Так, московское волнение 1648 года вызвано было злоупотреблениями и взяточничеством приближенных к некоторым придворным влиятельным боярам, надеющихся на защиту своих патронов. Народ особенно раздражен был взяточничеством любимцев и родственников тестя государева боярина Ильи Милославского, судьи земского приказа Леонтия Плещеева, заведывавшего пушкарским приказом Траханиотова, думного дьяка Назария Чистого и богатого купца Шорина. Кроме того, народ жаловался на любимца царского, боярина Морозова, дававшего будто бы возможность своим родственникам наживаться за счет народа. В этом мятеже рассвирепевший народ убил Плещеева, Назария Чистого, разграбил дома Шорина, князя Львова, князя Одоевского и даже дом самого боярина Морозова. Мятеж был подавлен стрельцами, но при этом, говорит хроника, много невинных людей побито, так как не время было разбирать, кто прав и кто виноват. Всего переловлено и перебито было до семи тысяч человек, из которых до 150 человек повешено, до ста потоплено; остальных же пытали, жгли, отсекали руки и ноги или пальцы у рук и ног, клеймили раскаленным железом и секли кнутом.

Обыкновенно общественное настроение сопровождается различного рода бедствиями. В 1654 году в Москве и других местностях господствовала сильная моровая язва и смертность доходила до страшных размеров: из шести стрелецких приказов не осталось ни одного стрельца, в Успенском соборе из многочисленного духовенства остались в живых только священник и дьячок, в Архангельском соборе весь причт вымер, в Благовещенском соборе остался один священник, в Чудовом монастыре из 182 братий осталось в живых только 26. Из частных лиц умирало не менее. У боярина Морозова из 262 человек осталось 19, у князя Трубецкого из 278 человек осталось только восемь. Народ волновался, колодники из тюрем разбежались, торговля прекращалась.

Уничтожался род человеческий Божиим попусшением, уничтожалось и достоинство его мечом вражеским и огнем. По свидетельству Лизека, секретаря посольства римского императора, в его бытность в России Москва горела шесть раз, и в каждый пожар истреблялось по тысяче и более домов. Такие частые и опустошительные пожары вызывали со стороны правительства энергические меры, но по большей части неудачные, по злоупотреблениям в исполнении<sup>3</sup>.

Помочь такому бедственному общественному положению, конечно, не могли меры, подобные выпуску медных денег, когда требовалась существенная реформа, коренное истребление зла, ввевшегося в плоть и кровь народную, отречение от старых порядков и замкнутости, проведение живительных начал, развивающих материальные и духовные силы народа. Понималась неотложность новых требований московскими государями XVII века, и делали они попытки на сближение с Западом, попытки, впрочем, частные и робкие. Стали вызываться иностранцы, ученые, доктора, разного рода ремесленники и ратные люди. Около престола стали сгруппировываться развитые люди, понимавшие значение образования, каковы, например, Матвеев, Ордин-Нащокин, Симеон Полоцкий и другие; но эти лица не были симпатичны слепому большинству и не могли провести сами собой существенных изменений, но

---

<sup>3</sup> 23 октября 1681 года велено было всякое палатное строение крыть тесом, по которому насыпать землю и устилать дерном, людям же состоятельным дозволялось крыть дранью на подставках. Далее в этом же указе повелевалось обывателям больших улиц Китая и Белого города строить дома каменные, для чего разрешалось отпускать им кирпич из приказа Большого дворца по указанной цене в долг с рассрочкой уплаты на 10 лет. Мера эта действительно могла бы быть практична и полезна, если бы только возможно было без подарков получать разрешения на вывоз из приказа Большого дворца.

они дороги нам, они подготовили новых лиц – Софью и Петра, сильных умом и вполне понявших необходимость поворота к свету.

Весь XVII век – первый шаг в переходном времени и потому всегда самый тяжелый в жизни. Народ чувствовал тяжесть, но не видел пути к улучшению; он волновался и восставал.

Для умирения народных мятежей и волнений правительство обладало одним действительным средством – воинской силой в виде стрелецких полков, но эта сила в известных условиях могла оказаться с своей стороны весьма опасным оружием.

До Петра Великого наша воинская сила заключалась в ратном ополчении, которое состояло из помещиков – поземельных владельцев, обязанных по призыву царскому являться в назначенное место и в определенный срок, вооруженными оружием по своему выбору и в сопровождении такого количества воинов, которое обязаны были выставлять по величине своего поместья. Дурно и разнообразно вооруженное, совершенно неопытное и обязанное продовольствоваться во время похода на свой счет, такое сборное ополчение, несмотря на громадность свою, доходившую до двухсот тысяч человек, и на личную храбрость, не могло отличаться ни порядком, ни стройностью, ни стойкостью и ни исполнительностью при выполнении военных операций. И действительно, от такого неустроенного состояния войска произошли неудачи наших военных действий со шведами, поляками, крымцами в XVII веке, когда в двух первых государствах существовало уже более обученное войско.

Неудовлетворительность военной организации сознавалась нашими государями еще в XVI веке и послужила поводом к образованию особого постоянного отряда, состоящего на жалованье и известного под названием стрельцов.

В первый раз название стрельцов встречается в 1551 году в числе лиц, сопровождавших Адашева в Казань для водворения на Казанский престол присяжника Шиг-Алея и оставленных Адашевым там для охранения Алея. Потом стрельцы упоминаются в рядах русского войска под стенами Казани и в походе новгородском. Впоследствии стрельцы встречаются почти во всех городах небольшими отрядами, но главное место их расположения находилось всегда в Москве. В стрельцы набирались люди из свободного класса с обязательством отправлять воинскую повинность бессменно, за что правительство давало им жалованье, строило им дома и снабжало оружием. Все стрелецкое войско разделялось на сотни под начальством сотников, находившихся в ведении голов, и управлялось стрелецкой избой, или приказом. Впоследствии избы, или приказы, были переименованы в полки, головы в полковников, а главным местом управления организовался Стрелецкий приказ в Москве, поручавшийся обыкновенно особо надежному и знатному боярину.

В московских полках, число которых простиралось до 20, считалось в каждом от 800 до 1000 стрельцов, а в городских от 300 до 500. Этот комплект обыкновенно пополнялся сыновьями и внуками служилых стрельцов, так как звание считалось наследственным, и только в случае особенной необходимости принимались в стрельцы охотники «резвые и стрелять гораздые» и то не иначе, как с поручною записью от старых стрельцов в том, что вновь принятый не сбежит со службы.

Составляя постоянное войско, обученное воинскому искусству, стрельцы образовывали ядро русской военной силы того времени и не раз оказывали весьма важные услуги правительству на поле брани и в мирной гарнизонной службе. Ими одержана была Добрыничская победа при Годунове, захвачен Заруцкий с Мариною, покорен Смоленск, ими прославилась защита Чигирина, ими подавлено коломенское восстание черни, мятеж войска на реке Семи, разбит Стенька Разин, и ими производилось полицейское охранение Москвы, содержание караульных постов у городских ворот, ночные объезды по городу и тушение пожаров.

Но образовывая, таким образом, главный оплот правительства, стрельцы вместе с тем в организации своей имели начала весьма опасные для государственного устройства. Эти начала заключались в слишком широких привилегиях и льготах. Кроме значительного для того вре-

мени жалованья (на стрельцов расходовалось более ста тысяч рублей ежегодно из общего государственного сбора), они имели право заниматься торговлею и промыслами, не неся в то же время никаких посадских повинностей, освобождены были по своим искам и сделкам от уплаты всякого рода судебных и печатных пошлин и, наконец, судились только в своем стрелецком приказе, кроме разбоя и татьбы. Такая отдельная и самостоятельная корпорация, естественно, должна была представлять собою силу решающую в общественной организации, оружие, всегда готовое и удобное в руках политической партии.

Занятие промышленностью привело к ослаблению воинской дисциплины, пренебрежению служебными обязанностями и к желанию освободиться от них, а самоуправление к своеволию и буйствам. Если же припомнить общий упадок государственного благоустройства того времени, безнаказанность чиновничьего корыстолюбия и взяточничества, общий ропот и недовольство, то, конечно, подобные явления должны были проявляться у стрельцов более резкого и опасного характера. И действительно, недовольство стрельцов стало обнаруживаться в грозных признаках: завелись самовольные круги, где самые буйные и наглые имели перевес, и их съезжие избы скоро получили название каланчей, с вершин которых бунтовавшая толпа сбрасывала всех, не одобрявших их поведение.

В конце царствования Федора Алексеевича опасное волнение обнаружилось в полку Семена Грибоедова. Стрельцы жаловались на притеснение своего полковника, на то, будто бы он недоплачивал им жалованья, заставлял их строить ему загородный дом, не отпуская с работы даже в Светлый праздник. По общему совещанию грибоедовцы написали челобитную, которую потом и подали дьяку Стрелецкого приказа Павлу Языкову. К несчастью, последний счел челобитную за вымысел пьяных своевольцев и в таком смысле доложил об ней заведовавшим тогда Стрелецким приказом князьям Юрию Алексеевичу и Михаилу Юрьевичу Долгоруким. Согласно докладу Долгорукие распорядились высечь подателя челобитной, но исполнение не состоялось. Грибоедовцы напали на служителей приказа, избili их и освободили товарища. Непосредственно затем явно взбунтовался весь Грибоедовский полк и увлек за собой другие остальные шестнадцать полков. Мятежники решили вытребовать от правительства примерного наказания полковникам, а в случае отказа распорядиться самим.

В таком положении находились общественные дела вообще и стрелецкие в особенности при последних днях жизни бездетного Федора Алексеевича, когда выступил на сцену несчастный неопределенный вопрос престолонаследия. Преемственность наследования престолом не определялась ни законом, ни строго сложившимся обычаем. В акте избрания на царство Михаила Федоровича о преемственности не было упомянуто ни слова, и наследники его, сначала сын Алексей Михайлович, а потом внук Федор Алексеевич, восходили на престол вследствие объявления их наследниками при жизни государей. Но Федор Алексеевич, оставив после себя двух братьев, одного единокровного и единоутробного Ивана Алексеевича и другого единокровного Петра Алексеевича, не объявил себе наследника ни при жизни, ни при последних моментах. Возникал вопрос, кто же должен быть после него царем? Казалось бы, право стояло за старшего брата Ивана, но его болезненность, слабость, неспособность и слепота были известны всем, – другой же, младший, Петр, едва только достиг десяти лет.

## Глава IV

Гулко и заунывно звучал большой московский колокол из Кремля, объявляя православным о кончине царя Федора Алексеевича 27 апреля 1682 года в тринадцатом часу дня (в 4 часа пополудни)<sup>4</sup>, и народ толпами двинулся в Кремль для последнего прощания с умершим государем. Конечно, не могла поразить неожиданностью смерть постоянно болезненного царя, но на всех этот печальный звон произвел тревожное впечатление. Кто будет назван царем и кто будет править в действительности, спрашивал себя каждый, и страшное предчувствие грозного будущего невольно закрадывалось в душу каждого.

Между тем как прощался народ, во дворце в обширной комнате со сводами собралась Государева дума для решения важного вопроса, кому быть царем. У одной из стен этой комнаты стоял золотой царский престол с колонцами по сторонам, острыми кверху и с острокопечной кровлей, над которой вверху блестел двуглавый орел, а внизу на спинке престола с иконой Богоматери. На правой стороне от престола на невысокой серебряной пирамиде, на золотой парче лежала держава, украшенная самоцветными камнями. Пол устилали богатые пестрые ковры, стены украшены иконами, живописными изображениями и серебряными подсвечниками с восковыми свечами. Кругом стен тянулись на четырех ступенях обитые красным сукном скамьи, на которых сидели теперь патриарх, митрополиты, архиепископы, бояре, окольные и думные дворяне.

Заседание открылось речью патриарха Иоакима:

– Известно вам, бояре и думные люди, что волею Всевышнего, управляющею судьбами царей и царств, наш православный великий государь царь Федор Алексеевич отошел в уготованную ему вечную обитель. Помолимся же мы все об успокоении души его и о ниспослании сиротствующему царству и граду нашему нового государя. По преемственному порядку следовало бы вступить на царство и прародительский престол благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу, но, не снисходя на мольбы наши о том, он отрекся от своего права и передает державу брату своему благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Излагая вам сие, мерность наша<sup>5</sup> с соизволения благочестивейшей царицы Натальи Кирилловны призывает Государеву думу на общий совет об избрании на царство царя и государя всея России.

Кончив речь, патриарх опустил на место, за ним расселись по своим местам и прочие члены Государевой думы. Наступило молчание. На лицах видны были самые разнообразные ощущения – и тревожного опасения и удовлетворенной надежды, ясно сквозившие через напускную боярскую сановитость.

Никому не хотелось высказываться первым.

Наконец заговорил боярин Иван Михайлович Милославский.

– Не подобает нам, верным слугам царевым, рассуждать об избрании себе государя тогда, когда здравствует благоверный царевич Иван Алексеевич, которому, как искони велось на Руси, и следует править государством по старшинству.

– Твоя правда, боярин Иван Михайлович, – заговорил один из Нарышкиных, – но ведь святейший патриарх просил уж царевича, и он добровольно отрекся в пользу младшего брата.

– Просил святейший патриарх, – отвечал Милославский, – один, от своего лица, а теперь мы будем просить от лица всей земли, – может, он и переменит свою волю.

– Да ведь мы все знаем немощность царевича, – отозвался уже с некоторым раздражением в голосе Иван Кириллович Нарышкин, – а вдругорядь просить, когда добровольно...

---

<sup>4</sup> В то время часы разделялись на дневные, начинавшиеся с восхода солнечного, и ночные – с заката. Следовательно, в конце апреля 13-й час дня соответствует нашему 4-му часу пополудни.

<sup>5</sup> Титул, присваиваемый патриархами.

– Полно, добровольно ли? – с усмешкой перебил его Милославский. – Мало ли на Москве ходит разных слухов...

– Каких слухов? – почти с запальчивостью закричал Иван Кириллович. – Ты, боярин, заговорил о слухах, так укажи нам прямо, без домек.

– Не мое дело передавать все слухи, мало ли что говорят... а тебе, Иван Кириллович, не след указывать постарше себя, еще молод.

Спор начал принимать все более и более крупные размеры. Страсти разгорелись; к спорившим примкнули их сторонники.

Наконец после долгих жарких прений, по предложению патриарха согласились: быть избранию на царство общим согласием всех чинов Московского государства людей. Такое решение Думы и записали дьяки.

На площади перед дворцом толпилось и колыхалось все московское население: стольники, стряпчие, московские и городовые дворяне, дети боярские, дьяки, жильцы, гости, купцы, посадские и люди черные, ожидая с нетерпением решения Думы. Тут же на площади, примыкаясь к самому дворцу, поставлены были вольными рядами стрелецкие полки, резко отличающиеся между собою цветами кафтанов синих, голубых, темно- и светло-зеленых, малиновых и алых с золотыми перевязями, с ружьями на плечах, с воткнутыми в землю бердышами и с развевающимися знаменами, на которых виднелись изображения то Страшного суда, то архистратига Архангела Михаила, то красных и желтых львов.

Все более или менее ясно сознавали законность старшинства царевича Ивана Алексеевича, но все также знали его неизлечимую болезненность и очевидную неспособность к личному твердому управлению государством. Каково же постоянное боярское управление ближних свойственников от первого брака Алексея Михайловича с их приспешниками и кормильцами, было слишком хорошо известно всем и всем ненавистно. Правда, и царевич Петр был еще десятилетним ребенком, но ребенком здоровым, цветущим, быстрым, не по летам разумным, обещающим скоро освободиться от боярской опеки. Тысячи рассказов ходили в народе об остроте его ума, схватывавшего все на лету и лично вникавшего в каждое дело. Затем и ближние царицы Натальи Кирилловны были людьми новыми, свежими, еще не резко отделившиеся от народа боярской спесью, еще не наложившими на него тяжелую руку.

Вот почему, прислушиваясь к глухому говору народа, нельзя было не заметить решительной симпатии к юному Петру.

– Стройся! Мушкет на плечо! Подыми правую руку! Понеси дугой! Клади руку на мушкет! – скомандовал по оригинальному тогдашнему многосложному артикулу начальник стрельцов, князь Михаил Юрьевич Долгорукий, вышедший из царской Думы.

Ряды стрельцов выровнялись, ружья засверкали стройными бороздами в лучах заходящего солнца.

На Красном крыльце, предшествуемый духовным синклитом, со святыми иконами и хоругвями и сопровождаемый Государевой думой, появился патриарх Иоаким. Все головы обнажились. Воцарилась глубокая тишина.

– Богом хранимое Русское царство, – заговорил патриарх взволнованным голосом, – в державстве переходило от родителя к сыну: избранному всеми чинами Московского государства после смутного времени блаженной памяти царю и государю Михаилу Федоровичу наследовал сын его государь и самодержец Малой и Белой России Алексей Михайлович. По кончине же государя Алексея Михайловича державствовал также сын его, объявленный наследником при жизни самого родителя, царь и государь Феодор Алексеевич. Ныне же, по преставлении Божиею волею великого государя Федора Алексеевича, не осталось ни объявленного им наследника, ни сыновей, а остались братья его благоверные царевичи Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич. Спрашиваю вас, все чины Московского государства, объявить единою волею: кому из сих царевичей быть государем и самодержцем русским?

– Царевичу Петру Алексеевичу! – раздался единодушный крик со всей площади.

Только один голос послышался после этого крика, голос приверженца царевны Софьи Алексеевны, дворянина Сунбулова: незаконно обходить старшего, следует быть царем царевичу Иоанну Алексеевичу!

Но этот крик утонул, замер в общем клике:

– Многая лета царю Петру Алексеевичу!

– Глас народа – се глас Божий, – проговорил святейший пастырь и, обратившись к боярам, добавил: – Что же надлежит теперь?

– По избранию всех чинов Московского государства должен быть наследником царевич Петр Алексеевич, – отвечали почти все бояре Государевой думы, за исключением только немногих приверженцев царевны Софьи. Патриарх и бояре возвратились в дворцовые покои, где с таким живым нетерпением ожидала их царица Наталья Кирилловна.

Патриарх благословил молодого монарха.

Рушились заветные, золотые мечты царевны! Опять та же ей ненавистная мачеха стала на дороге, и опять должна она войти в запертые двери теремной тюрьмы. Но нет, игра еще не проиграна, молодой ум гибок в изворотах и сумеет проложить себе дорогу широкую... хотя бы эта дорога и залита была кровью.

## Глава V

Шумный и тревожный день 27 апреля сменила ночь, ночь первых весенних дней, светлая, сырая, насквозь обхватывающая воздухом только что проступавшей земли и лопающихся почек. Темно и неприглядно, как и во всякое переходное время. Чуеться будущее, теплое, летнее с роскошными плодами, с обильной жатвой, а в настоящем топь да невылазная грязь...

Безлюдно на московских улицах, ворота у всех на запоре, ставни плотно закрыты и на железных болтах.

В доме боярина Милославского, по-видимому, точно так же спокойном и сонном, однако ж не спят. В одной из внутренних комнат, выходящей окнами в сад, собралось несколько человек ближних людей боярина, преданных слуг царевны Софьи Алексеевны.

Комнаты даже знатных лиц в XVII веке не отличались, затейливым убранством. В переднем углу, как у всех и всегда, находилась образница с иконами в серебряных вызолоченных окладах, перед которыми теплилась серебряная лампадка. На одной из стен висели часы, тогда только что начинавшие входить в употребление. Между окон стоял длинный стол, покрытый красным сукном, с серебряной чернильницей, несколькими свертками бумаг и с восковой свечой.

С одной стороны стола скамейка с бархатной подушкой, с других двух сторон скамьи, покрытые коврами. На скамье с бархатной подушкой сидел сам хозяин дома Иван Михайлович Милославский<sup>6</sup>, одетый в обиходный наряд того времени, в темно-зеленый суконный кафтан и в шапку, напоминавшей форму скуфьи. С других боков помещались гости: племянник хозяина комнатный стряпчий Александр Иванович Милославский, стольники Иван и Петр Андреевичи Толстые, городской дворянин Сунбулов, из новгородских дворян кормовой иноземец Озеров, возле него старая знакомая, постельница царевны Софьи Алексеевны Федора Семеновна, одетая нарядно в алый сарафан с парчовыми до локтей рукавами, в желтых сапожках на высоких каблуках; на ее шее красовалось жемчужное ожерелье, а в ушах длинные серьги. По другую сторону стола разместились стрелецкие полковники Петров, Одинцов, подполковник Цыклер и пятисотенный Чермный, одетые в обыкновенные форменные стрелецкие кафтаны.

– Так как же, Федора Семеновна, по твоим речам, царевна согласна?

– Да, боярин Иван Михайлович, милостивая царевна велела благодарить тебя за усердие к общему делу, согласна и заранее одобряет все твои распоряжения в защиту ее и старшего царевича.

– Слышите, други, – сказал боярин, обращаясь к гостям, – наша благоверная царевна не только согласна, она заранее одобряет наши действия. Царевич Иван и царевна полагаются на нас, постоим же за них верой и правдой, не выдадим их в обиду нарышкинцам, и достойная награда не оставит каждого из вас по мере усердия.

– Мы все готовы стоять за правое дело и положить головы за царевича и царевну, – первым отозвался Цыклер с тем жаром, в котором опытное ухо чуяло напускную ревность, – только укажи нам, как и что делать.

– Прежде всего нужно избавить царевича и царевну от их заклятых, исконных врагов – Нарышкиных, а от кого именно, племянник мой изготовил список, – сказал боярин, указывая на сверток бумаг, лежавший на столе.

– Это-то мы и сами знаем, боярин, да как спустить их? – спросил Одинцов.

---

<sup>6</sup> Иван Михайлович Милославский мог считаться самым влиятельным человеком царского двора, так как с 22 мая 1680 г. он управлял приказом Большой казны, московскую таможеню, номерною и мытною избою, городскими таможенями и всякими денежными доходами.

– По-моему, – отвечал хозяин, – втихомолку да исподволь дело не может идти. Первый же случай пробудит подозрение, заставит других быть осторожными и даст время приготовиться. Нет, надо действовать решительно и открытой силой, – а сила вся в стрельцах. Кстати, они волнуются, так и нужно поддерживать их неудовольствие, нужно как можно более раздражать и направлять их сначала против тех полковников, которые держат сторону Нарышкиных, а потом... ну, потом обрушиться решительным бунтом, то есть не бунтом, а твердой защитой правой стороны.

– От сторонников нарышкинских, изменных полковников, избавиться нетрудно, их как раз свои же стрельцы спустят с каланчей, ведь всеми они недовольны то за вычет из жалованья, то за строгость, а как направить против самих Нарышкиных? – спросил Петров.

– Нетрудно, полковник, – отвечал Милославский, – надо только как следует объяснить стрельцам, как Нарышкины на них злобятся, как замышляют разослать их по дальним городам, оторвать от отческих домов, хозяйства и родных, а потом и совсем извести за прежнюю-то их всегда верную службу лишь назло царевне, всегда горячо стоявшей за них, и как Нарышкины заместо их хотят устроить все войско из иноземцев. А главное, господа полковники, нужно внушать им, что они пойдут за правое дело, на защиту законного наследника царевича Ивана Алексеевича, которого Нарышкины всеми мерами пытаются загубить вконец.

– За свои полки мы ручаемся, – отозвались Одинцов, Петров и Цыклер. – Только прикинут ли к нам остальные?

– И я ручаюсь за свою пятисотню сухаревцев, – отозвался и Чермный, – а другая половина, наверное, не пойдет с нами. Пятисотенный Бурмистров – любимчик Долгорукого, так, стало, будет тянуть на сторону Нарышкиных.

– Этого-то молодчика и я давно заприметил, надо бы спустить его с рук, мешает он нам.

– Трудно, боярин, любят его в пятисотне и служилые и пятидесятники. Разве уж постараюсь как-нибудь один на один.

– Ну, так постарайтесь же, други мои, чтоб все было единомысленно. Приманите служилых и из других полков... если не пойдут с вами, так чтоб не перечили... Петр Андреич, – продолжал Милославский, обращаясь к младшему Толстому, – достаточно ли ты запасся зеленым вином?

– По твоему приказу, боярин, я уж несколько бочек заполучил с отдаточного двора, да еще на днях получу, а потом все бочки передам по полкам сколько кому угодно.

– А вы, полковники, поставьте к кругам при выпивке людей надежных да толковых, которые бы сумели направить куда следует...

– Выполним, боярин, об этом не сомневайся, только не мешало бы денег раздать сколько-нибудь по рукам да пообещать наград.

– Серебра у меня довольно, – отвечал Иван Михайлович, – будет для начала, да к тому ж царевна приказала доставить казну из всех монастырей по Двине. Ведь понапрасну там лежит, а тут дело богоугодное... защита обиженных... А что до наград, так пусть каждый выскажет чего желает...

– А когда, боярин, начинать дело? – спросили полковники.

– Да, думаю я, около половины месяца. Недельки через две, кажись, пятнадцатого-то мая день убиения Димитрия царевича в Угличе, так оно и было б кстати.

– Так и мы к этому дню будем готовиться, боярин.

– Готовьтесь, други мои, готовьтесь, только не пускайте заранее в огласку. Тогда все дело изъяните. Нарышкины увернутся, а вы поплатитесь головой. А ты бы, Федора Семеновна, поприглядывала в тереме-то Натальи Кирилловны и как что услышишь, дала бы нам весточку.

– Свое дело я знаю, боярин, – отозвалась постельница, – свела я задушевное знакомство с двумя санными ближними девицами царицы и выведаю от них всю подноготную; они мне передают каждое-то словечко царицы...

Во все время совещания Федора Семеновна казалась необычно рассеянной, поглощенной своим личным интересом. Дело в том, что давно уже приглянулся ей сосед ее кормовой иноземец Озеров, давно уже сердечко ее пылало тайной страстью к пригожему молодцу. Эту страсть знала добрая царевна и обещала устроить свадьбу своей верной постельницы по сердечному выбору в случае желанного успеха. Вот почему Федора Семеновна и казалась рассеянной, вот почему глазки ее так часто покоились на пригожем лице кормового иноземца, а тощенькое, непорочное тельце ее все ближе и ближе подвигалось к дюжему соседу. Но приглядываясь и прижимаясь к милому ей человеку, она все-таки следила за ходом дружеской беседы. Многое в этой беседе не нравилось ей. «Отчего это, – думала она, – боярин все напирает на царевича да выставляет себя, а об царевне говорит как будто вскользь. Ну, не разумней ли их всех моя, жемчуг перекаточный, царевна, ну, не достойна ли она править не то что каким-нибудь русским царством, а и всем миром. Нет, не для пользы царевны хлопочет боярин, – решила она, – а для своих видов, да из злобы на Нарышкиных».

– А как говорят при дворе царицы Натальи Кирилловны? – спросил Иван Михайлович постельницу.

– Да вот поджидают Артамона Сергеича, вчера, вишь, послали нарочного гонца в Лухов. Ден через пять, чай, прибудет.

– Прибудет, да поздно будет, – заметил боярин. – Да, кстати, племянничек, в списке твоём, кажись, нет Артамона?

– Не записан он, дядюшка, не знал я, что вернется к тому времени.

– Нет, племянник, его запиши первым. Пусть вспоминает услугу Ивана Михайловича... по-приятельски с ним рассчитаемся... Да не забудь, племянник, написать побольше таких списков для раздачи по нескольку штук на каждый полк.

– Да растолкуй, боярин, – спросил молчавший до сих пор Петров, – как это могло случиться, что Государева дума при жизни наследников предоставила выбор всем чинам московским, ведь этого никогда еще не бывало!

– Мало ль что не бывало, – угрюмо отвечал Иван Михайлович, – при наших порядках не то еще увидишь. Понасажали в Думу разных молокососов... родственников да свойственников царицыных, ну они и вертят по своей воле. До того было дошло, что родимый-то братец царицы вздумал сделать царем Петра Алексеевича от имени Думы по одному лишь заявлению патриарха об отречении старшего царевича. Да я по-своему осадил Ивашку Нарышкинского, а Думе говорю – мол, не по закону и не по обычаю обходить старшего брата, что по всем правам подобает царствовать Ивану Алексеевичу. И перетянул бы я, да к ним на подмогу заговорил Михайло Юрьич, известный их прихлебальник. Правда, и к моей стороне стал князь Иван Андреевич, да ведь не речист он в делах царских-то, ему бы только каноны говорить... Вот как я увидел, что нашим не пересилить, так и согласился на избрание по земству. Авось, думаю, хоть там потянут по старине, а вышло не так... загорланили иноземцы, приспешники козых бород<sup>7</sup>, а за ними и все чины. Ну, да в наших руках сила... поставим по-своему...

– А правду ль говорят, боярин, – спросил один из полковников, – будто молодой-то боярин Нарышкинский, срам сказать, сквернословил про покойного царя?

– Да как же неправда! Всем известно... сама сестрица потатчица, при ней и дело было. Все мы видели, как Наталья Кирилловна с сыном не хотели отслушать до конца отпевания. Все тогда смутились, а тетки-то покойного Анна Михайловна и Татьяна Михайловна не удержались и выговаривали Наталье Кирилловне через монахинь. Так, вишь, стала отговариваться, будто сынок мал, не мог выстоять на голодный желудок, а братец-то Ивашка тут и брякнул: кто умер, тот пускай-де и лежит, а царь не умирал и живет<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Бранное прозвище Нарышкиных.

<sup>8</sup> Др. рос. Вивлиоф. XI. 212. Более подробно об этом случае упоминается в польских источниках.

– Ну уж и люди эти Нарышкины, – единодушно отозвались слушатели, – от таких срамных слов и святотатцев чего ожидать доброго!

– Прощенья просим, боярин, не будет ли от тебя какого-нибудь наказа к царевне, – говорила постельница, собираясь уходить.

– Расскажи, Федора Семеновна, все, что видела и слышала, передай государыне мою нелицемерную рабскую верность, – готов служить ей до гробовой доски. Да вот что, Семеновна, – продолжал боярин, понижая голос и отводя постельницу в сторону, – сослужи ты мне добрую службу, и я не забуду тебя никогда. Вот и теперь есть у меня для тебя богатые запястья с самоцветными камнями, которые привез мне иноземный гость, да еще дорогая телогрейка.

– И без посулов, боярин, я готова всегда служить тебе, спрашивай только, не таись.

– Скажи же мне по правде, по душе, как часто бывал у нашей царевны князь Василий Васильич. Об чем они разговаривают? Не заходит ли когда речь обо мне? Насколько милостива к нему царевна...

– Бывал, боярин, князь Василий Васильич у царевны, не солгу, бывал, только не часто, когда только, бывало, придет к ней покойный государь братец за каким ни есть делом. А так, чтоб без делов, никогда не бывало. Об тебе же, боярин, царевна разговаривает нередко, вот хоть бы и со мной, и считает тебя что ни есть самым умнейшим и разумнейшим.

– А как царевна говорит о других, вот хоть бы о князе Иване Андреиче?

– О князе Иване Андреиче? Хованском? Как-то мало приходилось разговаривать об нем, боярин. Царевна уважает его. Да она и видит-то его нечасто.

Постельница собиралась уходить, но, уходя, она еще раз умильно поглядела на бывшего соседа и ласково проговорила:

– Не по дороге ли нам идти, Иван Андреич. Пошли бы вместе, а то боязно, как бы не обидели прохожие или дозорные с решетчатым.

– Хоть не по дороге, Федора Семеновна, – ответил бравый кормовой иноземец, – а проводить всегда готов.

И оба, простившись с хозяином и гостями, вышли.

– Время и нам расходиться, боярин. Позволь проститься, – заговорили и прочие гости, кланяясь хозяину, – когда прикажешь нам наведаться?

– Да всем-то собираться незачем. Приметно, да и все уж улажено; а кому случится нужда, так и завернет либо ко мне, либо к племяннику. До назначенного дня я под видом болезни выезжать не буду. Только не забудьте уговор.

– Помним, помним, боярин.

Гости вышли, кроме подполковника Цыклера.

– Боярин, – заговорил подполковник, оставшись наедине с хозяином, – я нарочно остался переговорить с тобой.

– Рад служить тебе, подполковник.

– Видишь что, боярин. Дело, за которое мы беремся, – дело опасное и будет стоить головы или теперь же, если не удастся, или впоследствии. А за такое дело берутся или неразумные из непонятной для меня собачьей преданности, или умные за что-нибудь для себя выгодное. Так как я не считаю себя неразумным, то прошу тебя, боярин, сказать мне откровенно – на что я должен рассчитывать.

– А чего бы ты желал, подполковник?

– Желал бы я не очень многого, боярин: поместья доброго да звания боярского.

Передернуло едва заметно боярина такое нахальное требование, складывались уж губы в презрительный ответ, но, вовремя спохватившись, Иван Михайлович ласково улыбнулся и, погладив бороду, спокойно ответил:

– Люблю подполковника за откровенную речь. По крайности начистоту. Обещаю тебе за царевну в случае успеха боярство и поместье.

И боярин, кивнув головой подполковнику, вышел во внутренние покои.

«Поместье и боярство, – думал про себя Цыклер, выходя из комнаты, – оно, конечно, дело хорошее, а все-таки своя голова дороже. С головой добудешь и того и другого, а без головы не поможет ни поместье, ни боярство. Надо подумать и рассчитать повернее. Теперь, кажется, дело верное и безопасное, а после можно будет вовремя и другой стороне... верно, не останется без благодарности».

Затихло все в доме боярина Милославского, не слышно ничего, кроме храпа многочисленной челяди боярской да прихлебальников. Только долго не мог заснуть сам боярин под влиянием картин воспаленного воображения о будущем величии. Обаятельная мечта уносила его далеко: то она казала ему его самого во главе Думы царской, как самовластного, сильного правителя, перед которым смиренно преклонялись боярские головы, покорно ожидающие от него милостивого слова или опального голоса, а там, в пустынях какого-нибудь Пустозерска, обнищавшие и голодные, тянут безотрадную жизнь его вороги, то представляла ему, как он будет принимать всех послов, которые, пораженные его умом и величием, разнесут славу об нем по всем концам крещенного и некрещенного мира, то представляла ему славу мудрого законодателя, осыпанного повсюду благословениями. Впрочем, мечта о мудрости законодательной недолго останавливалась в его голове и скоро сменилась другими, более усладительными образами. В разыгравшемся воображении боярина стали носиться другие облики, прелестные тени юных красавиц. Вот она, обольстительная русская женщина, – стройная, высокая, с полными развитыми формами, с густыми шелковистыми, длинными почти до пят волосами, с глубокими, полными нежной истомы очами...

Любил боярин и Груш, и Марфуш, и Любаш и беззаветно отдавался их губительным ласкам. Не действовали на него и мудрые предостережения книги «зело потребной, а женам досадной о злонравных женах». Напрасно читал боярин разумные советы: «не помысли красоте женстей, не падайся на красоту ея, не насладишия речей ея и не возведи на нея очей своих, да не погибнешь от нея. Бежи от красоты женския невозвратно, яко Ной от потопа... Человече, не гляди на жену многохотну и на девицу красноличную, да не впадеш нагло в грех... Не дай жене души своея... девы не глядай, с мужатницею отнюдь не сиди – о доброте бо женстей мнози соблазнишася, даже и разумные жены прельщают... Взор на жены рождает уязвление, уязвление рождает помышление, помышление родит разжение, разжение родит дерзновение, дерзновение родит действие, действие же исполнение хотения, исполнение же хотения родит грех... Человече, отврати лицо свое от жены чужия прекрасныя, не зри прилежно на лице ея: красоты ради женския мнози погибоша. Красота жены веселит сердце человека и введет человека в жалось на всякое желание. Человече, с чужою женою наедине николи не беседуй, не возлагай с нею за столом лахтей своих; словеса ея яко огонь поपालает и похоть ея яко поपालает пламя, отрезвися умом и отскочи жен блудливых»<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Старинная рукопись. Опыты изучения русских древностей и истории И. Забелина, Москва, 1872. С. 150. Не вразумлялся Иван Михайлович разумными наставлениями, поपालялся он в пламени и погиб.

## Глава VI

Постельница Федора Семеновна о призыве к двору боярина Матвеева сказала правду. По кончине Федора Алексеевича царица Наталья Кирилловна увидела себя во главе партии, правда, довольно многочисленной, но совершенно неопытной, молодой, увлекающейся, еще неокрепшей в ведении исконных придворных интриг. Требовался опытный руководитель, и боярин Артамон Сергеевич Матвеев как нельзя более мог удовлетворить все вопросы сложившихся обстоятельств.

Артамон Сергеевич происходил не из знатного рода «дьячих детей», но выдвинулся на вершину умом, способностями и образованием. Служа стрелецким головою, он под Смоленском своею распорядительностью обратил на себя внимание царя Алексея Михайловича. Затем, по обязанности уже думного дворянина, он участвовал в совещаниях думы Государевой, а впоследствии заведовал некоторыми приказами (Аптекарским). Скоро он сделался самым ближним сотрудником царя, «его верной и избранной головой».

Считаясь во главе новаторов того времени, Матвеев действительно был передовым и самым развитым из своих современников русских. Он занимался науками и искусствами, оставил после себя первый опыт русской истории (государственная большая книга, описание великих князей и царей российских) и первый устроил из своих дворовых труппу актеров. Дом его был обставлен по-европейски с большими стенными часами и картинами по стенам. В этом-то доме царь Алексей Михайлович в первый раз увидел Наталью Кирилловну Нарышкину, полюбил и потом женился на ней. При свадьбе Артамон Сергеевич был пожалован в окольничьи, а через год и в бояре.

Отделяясь от придворных образованием, он в то же время отличался редкою в современниках добросовестностью, отсутствием корыстолюбия и не относился к народу с обычной спесью. Москвичи любили его. Сохранился известный характеристический анекдот о постройке его дома. Старый, ветхий дом Артамона Сергеевича требовал большой перестройки, о чем не раз настаивал и Алексей Михайлович, вызываясь принять издержки по постройке на счет казны. Боярин, наконец, обещался перестроить, но решительно отказался от казенной помощи. Таким решением он поставил себя в затруднительное положение. В наличности денег не было, да и камня в ту пору тоже не оказывалось в продаже. И вот однажды утром на двор к нему въехало множество телег с камнями. Оказалось, что московские обыватели, стрельцы, торговые и посадские люди, узнав о его затруднении, собрали камни с могил своих отцов и поклонились ими боярину, отказавшись, разумеется, от всякой платы.

Пользуясь значением при дворе только по личному расположению царя, Матвеев, по кончине Алексея Михайловича, не мог выдержать борьбы с старой боярской придворной партией. И действительно, вскоре, не далее полугода по воцарении Федора Алексеевича, вследствие доноса сначала в корыстолюбии, а потом в чародействе, Артамон Сергеевич сослан был воеводство в Верхотурье, а потом в ссылку в Мезень.

Понятно, какую значительную поддержку могла оказать опытность Матвеева партии царицы Натальи Кирилловны, понятна поспешность, с какой был послан в Лухов за боярином Матвеевым стольник Алмазов, понятно, с каким нетерпением ожидала его приезда царица и понятна, наконец, торжественность его приема. Еще в Троицкой лавре он был встречен приветствием от имени царя Петра Алексеевича Юрием Лутохиным, а в селе Братовщине Афанасием Кирилловичем Нарышкиным от имени царицы.

Прибыв в Москву 11 мая, Матвеев нашел положение дел весьма опасным и неисправимым. Волнения стрельцов приняли громадные размеры, а неопытное правительство не только не принимало строгих и внушительных мер, но, напротив, робкою уступчивостью поощряло их к дальнейшим волнениям.

Соединившись с Грибоедовским полком, прочие стрельцы 30 апреля подали общую челобитную, в которой повторялись те же жалобы на притеснения своих полковников в недодаче им жалованья, с угрозой в случае отказа правительства расправиться самим. Вместо быстрого и беспристрастного расследования жалобы правительство поспешило отставить от должностей полковников, возбудивших жалобы, взыскать с них правеем удержанные будто бы ими деньги стрельцов и удалить нелюбимых стрельцами оружейничего боярина Ивана Языкова и братьев Лихачевых. Поощренные таким образом робостью правительства по отношению к жалобам на главных начальников, стрельцы сочли себя вправе разделяться своим судом с лицами второстепенными, – и вот строгие, обуздывавшие их пятисотенные, сотенные, пятидесятники и пристава – все погибли, сброшенные с каланчей.

Развитием мятежного настроения весьма ловко воспользовались люди, преданные царевне Софье Алексеевне. Разгоряченное воображение легко и слепо поддается обману. Искусственные рассказы о злобных умыслах Нарышкиных против стрельцов, об отравлении ими покойного царя Федора Алексеевича, о насильном принуждении старшего царевича отречься от престола, о намерении изгубить Ивана Алексеевича, может быть, в другое время остались бы без внимания, но теперь, при общем воспалении, находили доверчивых слушателей. Истребить, наказать зловерный род губительных временщиков – становилось в их глазах делом справедливости, значило постоять за правду, за царей, за веру. Осязательный факт был налицо: царевич Иван обойден, а неслыханно быстрое возвышение молодых, еще неопытных Нарышкиных против старых бояр, не оправдываемое никакими еще заслугами (из Нарышкиных Иван Кириллович пожалован был оружейничим и саном боярским на 23 году. Афанасий Кириллович комнатным стольником, Кирилл Алексеевич кравчим), не могло не возбудить общего неудовольствия и не могло не казаться подозрительным. Как же было не верить стрельцам своим любимым полковникам, когда вся внешняя обстановка совершенно согласовалась с их рассказами и когда в среде их не раздавалось ни одного голоса, раскрывавшего истину.

Увлечение стрельцов было глубокое и истинное. На бесчеловечную форму проявления этого увлечения имело неоспоримое влияние доброе вино отдаточного двора и богатые награды. Да, впрочем, конец XVII века и нигде не отличался особенной мягкостью нравов.

Утро 14 мая. В приемной комнате перед внутренними покоями царицы Натальи Кирилловны дежурил стряпчий. Характер дежурства того времени несколько не отличался от нашего: та же бездеятельность и томящая скука, та же невыносимое однообразие, та же досада на бесконечно долго тянущиеся часы. Стряпчий от нечего делать занимался глубокомысленным созерцанием линий на ладони левой руки, то сгибая, то их расправляя.

– Передай матушке царице, что я пришла повидать ее, – сказала неожиданно вошедшая царевна Софья.

Озадаченный необычным приходом царевны, стряпчий сначала как-то бессознательно оглядел ее, а потом опрометью бросился в соседнюю комнату, где вышивала за пяльцами золотом и жемчугом постельница царицы Натальи Кирилловны.

– Доложи государыне царице, изволила прибыть к ней царевна Софья Алексеевна и ожидает в приемной палате.

Постельница быстро направилась к опочивальне и передала изумленной Наталье Кирилловне поручение стряпчего.

Изменилась в лице царица при этой вести, не ожидала она такого поступка от падчерицы, с которой никогда не могла сойтись душевно, от которой никогда не видела приветливого взгляда. Едко защемило сердце мачехи.

– Спасибо, царевна, что вздумала проведать меня, – говорила царица, выходя к ожидавшей ее Софье Алексеевне в большую парадную приемную.

Обе женщины уселись одна против другой за столом, украшенным искусной золотой резьбой.

Трудно представить себе более противоположных типов, как Наталья Кирилловна и Софья Алексеевна. Во всем облике первой, без ведома ее самой, так и бросалась в глаза натура женственная, не способная к героическим подвигам, но вместе с тем самоотверженная и любящая к дорогим ее сердцу. Цветущая молодостью и красотой, описывает ее Рейтенфельс (1671–1673), стройная, черноокая, с челом прекрасным и с приятной улыбкой, она пленяла и мелодичною речью и прелестью всех движений. Пять лет вдовства, полного горя, стеснений, оскорблений, мелких, но тем не менее чувствительных уколов, пять лет ссылки от двора уничтожили цветущий румянец, охолодили нежное сердце.

Холодом веяло от царевны. Стальной энергией смотрели голубые глаза, на губах лежала нервная улыбка. Воспитание сумело развить ей ум, но не развило чувства. Правда, и царевна любила, но как любила? В самой любви ее сказывалось более эгоистичности и более чувственной стороны.

– Как здоровье твое, царевна? – продолжала царица приветливо.

– Благодарю, матушка. После смерти братца все еще не могу прийти в себя: голова болит, грудь ломит, во всех суставах какая-то немочь – точно будто свалилась с высокого места. Заниматься ничем не могу...

– Понимаю, царевна, и сочувствую тебе, – участливо отвечала царица.

– А как твое, матушка, здоровье и государя братца Петра Алексеевича?

– Мы, как видишь, слава Всевышнему. Сын занимается теперь с учителем. Боюсь за него, царевна, больно уж резов...

– А я к тебе, царица, по особому делу. Вчера были у меня митрополиты, епископы и выборные люди от народа, молили воцарения на прародительский престол законного наследника царевича Ивана Алексеевича.

– Да как же это, царевна? – не веря ушам своим и с недоумением глядя, спросила царица. – Ведь все же чины Московского государства единодушно выбрали моего Петра?

– Видно, одумались, матушка, – с некоторой насмешкой ответила царевна.

– Невозможное дело, Софья Алексеевна. Царевич Иван сам добровольно и решительно отказался от престола.

– Ничего не значит, матушка. Справедливо – он отказался, но по просьбе всего народа московского может переменить и согласиться, а царевич Петр может разделить царством с братом, может добровольно с своей стороны уступить ему первенство как старшему.

– Да ведь царевич Иван больной, не может... не в состоянии править государством.

– И... и... матушка царица, не все же цари и короли – голиафы. На что ж советные-то мужи и Государева дума? Точно также и Петр царевич – еще ребенок, также не может сам править царством...

Если бы дело касалось лично только до Натальи Кирилловны, то, вероятно, она не оказала бы большого противодействия, но в настоящем случае терял ее милый сын, интересы которого она, как мать, должна отстаивать твердо. И вот в одно мгновение она решила всей жизнью своей защищать права своего ненаглядного Петруши.

– Нет, царевна, – с решительностью отозвалась царица, – кого раз избрал весь народ и кто получил Божье благословенье, тот не может уж отречься от своего назначения.

– Ну, как знаешь, матушка. Как близкая родная я хотела предупредить тебя, как бы не вышло смуты великой в государстве... народ волнуется... не полилась бы неповинная кровь.

– Что Богу будет угодно. Надеюсь на Его милосердие и готова на все...

Обе стороны остались недовольны свиданием.

– Напрасно только послушалась я Василья, – говорила про себя царевна уходя, – попытайся... да попытайся... Может, она добровольно уступит Ивану Алексеевичу, тогда и смуты никакой не будет, и кровь не прольется... Не такие люди Нарышкины... добром с ними не раз-

делаешься... с корнем только можно вырвать злое племя. Как бы еще не испортили... теперь ведь предупреждены... Хорошо, что не разболтала...

Ошеломленной и растерянной осталась после свидания царица. Что делать? Что предпринять? Она не знала, она знала только и на что твердо решила – это неотступно стоять за судьбу дорогого сына, не уступать никому Богом предназначенного ему предопределения. К кому обратиться за советом? Отец – стар, да и неопытен в подобных делах. Братья? Молоды и бессильны. К Артамону Сергеичу? Да, к нему. Он опытен и умен. Он сможет отвратить беду.

– Пошли скорей гонцов к Артамону Сергеичу и брату Ивану Кирилловичу, – приказала она стряпчему, – зови их сейчас ко мне.

Отдав приказание, Наталья Кирилловна вошла в свою опочивальню и опустилась на колени перед ликом Пресвятой Девы. И горяча была материнская молитва, слезы струями текли по побледневшим щекам, губы судорожно шептали бессвязные звуки, но с одним глубоким смыслом мольбы о счастье сына.

– О Боже милостивый, спаси его! Если нужна жертва – возьми меня, отними от меня все, лиши всего, но надели его всеми земными благами, отклони от него все несчастья и передай их все на мою несчастную голову. Сделай бессильными козни врагов его, подай мне крепость и силу на борьбу, научи меня, слабую женщину...

Вошла постельница с докладом о приезде Ивана Кирилловича и Артамона Сергеича.

– Что с тобой, сестра, – спросил встревоженный Иван Кириллович вышедшую сестру, – на тебе лица нет?

– Я в страшной тревоге... послала за вами, благодетель и друг мой Артамон Сергеич и брат Иван. Была у меня сейчас царевна Софья.

И царица передала весь свой разговор с царевной.

По мере рассказа все более и более бледнело лицо Ивана Кирилловича и все серьезнее становился Артамон Сергеевич.

– Да, царица, дело важное и опасное, – сказал Артамон Сергеич, – я знаю царевну. Если она решилась высказаться, так, значит, совершенно уверена в успехе, значит, все подготовлено...

– Неужто ты думаешь, сама царевна подымает смуту? – спрашивала недоверчиво Наталья Кирилловна, не понимая, как царевна, при тогдашней обстановке женского царского семейства, могла быть основой какого-нибудь политического движения. – С какой же целью?

– Я не думаю, царица, а убежден в этом – Софья Алексеевна хочет власти. Как властвовала она при царе Федоре Алексеевиче, так будет властвовать, если еще не больше, при больном Иване. А может быть, она пойдет и дальше... Ясно. Но не в этом важность, а важно знать: какими средствами решилась действовать... Я здесь всего только два дня, не успел присмотреться к новым порядкам. На преданность каких бояр можно рассчитывать?

– Да ведь они все кажутся преданными, – ответила Наталья Кирилловна.

Старый боярин улыбнулся.

– Отстала от двора, родная... Скажи мне по крайности: кто в Государевой думе говорил за Ивана Алексеевича?

– Говорили Иван Михайлович Милославский, Иван Андреевич Хованский, поддерживал князь Василий Васильевич Голицын да еще кто-то...

– Василий Васильевич? Нет... он слишком осторожен, не пойдет он явно в мятежники... Иван Андреевич? Глуп – быть вожаком. Иван Михайлович? Ну у этого голова изворотливая...

– Боярин Иван Михайлович лежит дома больной, – вмешался Иван Кириллович, – я вчера встретил его холопа... спрашивал: больной, говорит, трясушкой лежит... Вот уж недели две никуда не выезжает.

– Болезнь может быть и отводная... и не выходя из дома можно орудовать... Ты не распорядилась, царица, за ним присматривать? Кто у него бывает?

– Нет, Артамон Сергеич, мне этого и в голову не входило.

– Народ волнуется, – как будто сам с собой говорил Матвеев. – Какой народ? Давно ли этот народ выбрал единодушно царем Петра Алексеевича? По какому поводу в такое короткое время мог измениться? Странно! По улицам не видно никакого волнения... ни между посадскими, ни торговыми, ни жильцами... не заметно волнения в духовенстве и в думе Боярской... Где ж волнение? Слышал я, царица, стрельцы крамольничают. Чего они хотят?

– Они были недовольны своими полковниками, просили о недоданных деньгах, и челобитную их тотчас уважили, стрельцов-то я не опасаюсь, – отвечала Наталья Кирилловна.

– Уважены, говоришь, да как? Без разбора, без розыска, как я слышал, царица. Так такая поноровка только пуще вредит. Говорят – по ночам в их слободах пьянство да крики. Кто мутит? Уверена ты, царица, в Михайле Юрьиче?

– Ты знаешь его больше меня, Артамон Сергеич. По мне, он не способен на измену.

– Правда твоя – он честная, открытая душа, не пойдет на хитрости. Завтра надо его расспросить. Жаль, человек он не покладливый... горд... держит себя далеко от стрельцов. Ноне же, – продолжал Артамон Сергеич, обращаясь к Ивану Кирилловичу, – оповести патриарха, Долгорукого, Черкасского и других, кого ты знаешь из наших ближних, прибыть завтра к царице по важному делу на совет. Завтра мы переговорим и решим, как должно делать, а теперь прощай, Наталья Кирилловна, будь покойна. Грозен сон, да милостив Бог. Может, и все пройдет благополучно.

– А будет велика смута, – говорил Иван Кириллович боярину Матвееву, спускаясь по дворцовой лестнице. – Чаю я от царевны конечной гибели себе и всему нашему роду.

– Да, – раздумчиво ответил последний, – не пройдет даром наша затея. Бог один знает, что будет. Щемит у меня сердце больше, чем, бывало, в ратном деле. Много будет пролито невинной крови... во многом отдаст царевна отчет Богу на последнем суде.

Бояре расстались, отправляясь каждый в свою сторону, под влиянием тяжелого чувства. И во весь тот остальной день боярин Матвеев, возвратившись домой, был сам не в себе. Грустно останавливались его глаза на юном его сыне Андрюше, которого он с такой нежной любовью старался образовать и воспитать сообразно с европейскими условиями. Не тревожили его хлопоты по устройству заброшенного в его отсутствии дома, и с удвоенной лаской целовал он сына при прощании.

Чувствовалось ему, что это прощание на ночь 15 мая будет последним поцелуем сыну.

## Глава VII

На другой день ранним утром 15 мая съехались в дворец к Наталье Кирилловне оповещенные Иваном Кирилловичем все приближенные нарышкинской партии. Тут были кроме отца царицы Кирилла Полуэктовича и брата Ивана Кирилловича патриарх Иоаким, боярин Артамон Сергеич Матвеев, князь Михаил Юрьич Долгорукий, князь Михаил Алегукович Черкасский, боярин Петр Михайлович Салтыков и другие.

Совещание началось заявлением Артамона Сергеича о вчерашнем предложении царевны Софьи.

Предложение царевны было отвергнуто всеми с негодованием. По общему единодушному мнению, уступка престола царем Петром Алексеевичем была бы нарушением законного порядка и что всякая попытка на осуществление предложения силою должна считаться, после торжественного избрания и объявления царем Петра, после данной ему от всех чинов и обывателей московских присяги, – должна считаться мятежом и бунтом.

– Но царевна ссылается на волнения и требования народа, – начал боярин Матвеев, – не может никто указать, на какие волнения и требования намекала царевна, откуда выходят эти требования и какие поэтому надо взять меры. А я с своей стороны, – продолжал боярин, – не слыхал ни о каких волнениях, кроме буйства стрельцов.

– По сведениям, доставленным мне пятисотенным Сухаревского полка Бурмистровым, одним из самых преданных слуг законного царя, – отвечал князь Михаил Юрьич Долгорукий, особенно отчеканивая слова «законного царя», – стрельцы почти всех полков чуть не каждую ночь собираются в своих съезжих избах кругами, пьянствуют и болтают разный вздор. Какие-то зловредные люди распустили между ними слух, будто родственники царицы замыслили всех их извести, будто царевич Иван Алексеевич отказался по принуждению от престола. Рассказывают, будто на днях Иван Кириллыч надевал на себя царскую корону, что будто бы видела царевна Софья Алексеевна и царица Марфа Матвеевна; царевна и царица упрекали его, а он в озлоблении бросился на Ивана Алексеевича и чуть не задушил его. Вздор, о котором не стоит и говорить и которому верит разве только одна пьяная сволочь.

– А давно ли, князь, начались эти слухи? – спросил Матвеев.

– Недели с две.

– И ты, князь, ни разу не доложил об них царице?

– Зачем мне было тревожить государыню разным вздором, болтовней пьяных.

– Но этими пьяными, князь, управляют трезвые головы, они составляют силу, способную погубить царя, царицу и всех нас.

– И... полно, Артамон Сергеич. Не след бывшему стрелецкому голове и начальнику стрелецкому трусить пьяной толпы...

– Теперь, когда мы знаем, откуда идет гроза, надо обсудить, каким путем отвратить ее, – продолжал Матвеев.

– По-моему, – отозвался Михаил Юрьич, – с пьяной толпой справиться трудно, но если мятежники действительно окажутся силой и покусятся на царский дворец, так мы можем отразить их тоже силой: у нас преданный Сухаревский полк, Бутырский и Стремянный. С этими полками мы можем запереть все входы в Кремль и держаться до прибытия подкреплений. А между тем мы сейчас же можем разослать гонцов с призывом по ближним воеводствам ратного ополчения. Тогда это ополчение ударит на мятежников с тыла, и мы одновременно сделаем вылазку из Кремля. Ручаюсь – не спасется ни одна голова.

– Твое мнение хорошо, князь, – возразил Артамон Сергеич, – но подумай только: ратное ополчение собирается медленно, можем ли мы с двумя, много тремя полками, и то, вероятно, неполными, так как и в их числе найдутся изменники, продержаться долго в Кремле, содержа

караулы при всех выходах? Поэтому, по моему бы мнению, к такому средству можно прибегнуть только в крайности... предварительно же надо испытать другие меры. Может, удастся избежать кровопролития.

– А какие средства пригодны по-твоему, Артамон Сергеич? – спросил боярин Салтыков.

– Пусть Михаил Юрьич через преданных стрельцов Сухаревского полка узнает, кто зачинщики мятежа и кем разносятся нелепые слухи. Узнав их, мы можем призвать их, убедить в нелепости наговоров и привлечь на свою сторону. Полезно было бы святейшему патриарху послать в стрелецкие слободы надежных отцов для увещевания и вразумления.

– Поможет ли это, боярин? – заметил патриарх. – В полках стрелецких появилось много раскольников после возвращения из астраханского похода на Стеньку Разина. Лучшие стрельцы оставлены там, в Астрахани, а сюда прислано много людей буйных и еретиков.

– Узнав главных вожаков, – продолжал боярин Матвеев, – и перетянув если не всех, то некоторых из них, мы разрушим единоклассие и во всяком случае замедлим мятеж, а тем временем соберется ратное ополчение. А как твое мнение, царица?

– По мне, – отвечала Наталья Кирилловна, – нужно все сделать, чтобы только кровь не лилась. Впрочем, я во всем полагаюсь на вас, бояре.

– Не мешало бы, – отозвался князь Долгорукий, – запретить отпуск вина с отдаточного двора для стрельцов.

– Это бы хорошо, – возразил боярин Салтыков, – да трудно выполнить. Они могут получать вино не прямо с отдаточного двора, а от своих знакомцев, да, вероятно, у них есть и свои запасы.

Наконец после долгих прений и рассуждений положено было принять оба мнения: и боярина Матвеева, и князя Долгорукого, то есть при неуспешности предварительных мер, в случае крайности действовать энергичически согласно мнению Михаила Юрьича.

Близилось к полудню. Собрание предполагало было расходиться, как вдруг послышался набат в ближайших к Кремлю церквях и вслед за тем отдаленный барабанный бой.

– Как? Что такое? Отчего? – спрашивали царица и бояре друг друга.

– На полдень, государыня, – сказал князь Черкасский, подходя к окну, – видна не то туча, не то пыль, и оттуда несется гул какой-то.

– Узнай, Артамон Сергеич, – распорядилась Наталья Кирилловна, – и распорядись как нужно.

Матвеев вышел.

Через несколько минут он воротился бледный и расстроенный.

– Поздно, государыня, – сказал он. – На лестнице встретили меня князь Федор Семеныч Урусов, подполковники Горюшкин с Дохтуровым и передали мне, будто мятежники стрельцы еще ранним утром вышли из своих слобод при пушечных снарядах, прошли Земляной и Белый город, отслужили молебен в Китай-городе у Знаменского монастыря и теперь подходят к Кремлю. Стрельцы пьяны... кричат: «Всем Нарышкиным отомстим за смерть царевича Ивана!» Им кто-то насказал, будто царевича убили... Я велел запереть все кремлевские ворота.

– А я прикажу построиться в боевой порядок очередным караульным стрельцам при дворце. – Михаил Юрьич вышел из палаты и, приказав полсотне Сухаревского полка, стоявшей в тот день на карауле, быть наготове, сам воротился к царице.

Но отданные приказания не могли быть исполнены. Громадные толпы пьяных стрельцов успели ворваться в Кремль и окружить Красное крыльцо. Звуки набата на Ивановской колокольне, бой барабанов, неистовые крики и проклятия, гул и треск наводили невольный ужас. Царица бросилась к образам и казалась в отчаянии, губы ее шевелились, но из них вылетали только неопределенные звуки, молящие, скорбные звуки, не слагавшиеся в слова молитвы.

Все присутствующие, кроме царицы, стояли у окон.

– Посмотри, Михаил Юрьич, – говорил князь Черкасский, – с какой яростью лезут стрельцы на крыльцо. Они ломают решетку.

– Государыня, – сказал подполковник Дохтуров, входя в палату, – бунтовщики думают, будто царевич Иван Алексеевич убит, если б показать им царевича...

В это время вошел Кирилл Полуэктович, держа за руки царя Петра Алексеевича и царевича Ивана.

– Вот, дочь моя, я привел к тебе твою силу и защиту.

Все бояре решили немедленно же показать обоих братьев разъяренной толпе и видимо обличить ложь. С мужеством отчаяния, доведенного до крайнего предела, царица взяла обоих братьев и в сопровождении патриарха и всех бояр вывела их на Красное крыльцо.

Выставленных напоказ царевича и царя вмиг окружила толпа, перелезшая через перила. Шестнадцатилетний больной царевич дрожал от испуга, бледное лицо еще более помертвело, а загноившиеся подслеповатые глазки непрерывно моргали от напивавших слез. Иначе действовал испуг на ребенка Петра. Глаза его смело смотрели на пьяную, бесчисленную, ревущую перед ним толпу, и только легкое подергивание личных нервов, явление, выразившееся у него и впоследствии всегда при сильных ощущениях, указывало на коренное нравственное потрясение.

– Ты ли это, царевич Иван, – спрашивали старшего царевича многие из стрельцов, бесцеремонно ощупывая его руками.

– Аз есмь, – отвечал он, – жив и никем не обижен.

– Как же, братцы, стало, нас обманули, царевич-то здоров и не обижен, – говорили в передовых рядах стрельцы и попятились назад. Крики смолкли, наступила минута недоумения и нерешительности.

Царица увела братьев в палаты, а оставшиеся на крыльце патриарх и боярин Матвеев старались воспользоваться благоприятной минутой и уговорить стрельцов. Боярин напомнил то время, когда он был их головой при покойном царе Алексее Михайловиче, как он делил с ними одну хлеб-соль, горе и радость, как за них всегда стоял грудью, любил их, как детей своих.

– Тогда вы верили мне, братцы, верьте же и теперь. Злые люди смутили вас, насажали неправду, как вы и сами убедились, с умыслом обольстить вас... отвести от крестного целования... Но стрельцы никогда не были изменниками, они всегда были за правое дело... за избранного, венчанного царя. Успокойтесь же, братцы, и с миром разойдитесь по домам. Вы не виноваты... Царица вас любит и прощает... Никто не имеет против вас ничего, и никто не желает вам никакого лиха.

Речь боярина произвела, видимо, сильное впечатление на стрельцов.

– А что ж, ребята, – слышалось в рядах, – боярин-то правду сказал, не разоитесь ли нам по домам.

Передние ряды отступали.

Это был решительный момент, и им-то боярин Матвеев не сумел воспользоваться. Вместо того чтоб остаться и лично руководить выходом стрельцов из Кремля он, обрадованный успехом, поспешил уйти во дворец объявить добрые вести беспокоившейся царице. Его удаление дало возможность сторонникам царевны дать делу иной оборот.

– Не слушайте его, – стали кричать в задних рядах. – Известно... он из нарышкинских. Разве царица Марфа Матвеевна и царевна Софья Алексеевна не видели сами, как Ивашка Нарышкинский надевал корону, надругался над царевичем и чуть не задушил его. Нынче надругался, завтра изведут. Потом и нас всех изведут. Смерть Нарышкиным! Режь их!

И тысячные толпы снова бросились на Красное крыльцо.

Вдруг они остановились. На крыльце стоял князь Михаил Юрьич Долгорукий с обнаженной саблей.

– Прочь, изменники, бунтовщики! Первого, кто взойдет – разрублю! – прогремел звучный голос князя.

Отчаянная решимость и твердая воля ошеломили толпу и остановили ее... на минуту. Несколько человек бросились на князя. Передовой из них скатился с разрубленной головой, второй тоже упал раненый, но третьему удалось ударить князя копьём так ловко, что тот пошатнулся и упал. Тотчас же на него бросилась масса, схватила на руки, раздела, подняла на вершину крыльца и оттуда с силой бросила вниз на копья стрельцов. Грузное тело князя пронзилось остриями копий, и ручьи крови, сбежав с древок, обагрили руки.

– Любо ли? – кричали сверху.

– Любо! Любо! – отвечали снизу.

Сбросив тело князя с копий на землю, толпа рассекла его бердышами на куски. Это была первая, но не последняя жертва первого кровавого дня. Страсть дикого, хищного животного пробудилась в человеке от запаха крови.

В это время другая толпа стрельцов ворвалась во дворец через сени Грановитой палаты и, обежав комнаты, увидела боярина Матвеева в спальне царицы.

– Берите его: он из тех! – закричал, видимо, руководивший толпой.

– Оставьте его, моего благодетеля, второго отца, берите, что хотите, но не трогайте его! – молила царица, не выпуская из своих рук Матвеева.

– Тащите его, кончайте, как велено, – приказывал тот же голос, и стрельцы вырвали Матвеева из рук царицы и перенесли в другую комнату.

– Прочь! – На выручку Матвеева бросился князь Черкасский с обнаженной саблей, но эта помощь одного человека была слишком ничтожна. Раненный в плечо пикой, Черкасский упал, а Матвеева вынесли на Красное крыльцо, где, раскачав, как и князя Долгорукого, сбросили вниз на копья с тем же криком «любо ли» сверху и с тем же откликом «любо, любо» – внизу.

В это время часть стрельцов, находившихся на площади, схватила между патриаршим двором и Чудовым монастырем боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского и «ведуще его за власы браду зело ругательно терзаху и по лицу бивше» – подняли против разряда вверх на копья и потом, сбросив, всего изрубили; сына же его Андрея освободили, вспомнив его долгий мучительный плен у татар.

– Во дворец, во дворец! – кричали рассвирепевшие стрельцы. – Ищите изменников Нарышкиных! – И дворец наполнился толпами по всем палатам. Царица с сыном Петром и царевичем Иваном удалилась в Грановитую палату.

Обегая комнаты, мятежники нашли подполковников Горюшкина и Дохтурова и изрубили их бердышами, у которых для более свободного действия окоротили древки еще перед выходом из слобод.

В одной из палат они отыскивали стольника Федора Петровича Салтыкова.

– Кто ты? – допрашивали его убийцы.

Молодой человек от испуга не мог отвечать.

– Молчит – ну так, стало, изменник. – И юноша упал под секирой.

– Сын мой, сын мой! – вскричал несчастный отец, Петр Михайлович Салтыков, вбегая в этот момент в комнату и бросаясь на окровавленный труп сына.

– Так он не Афанасий Нарышкин? Ну ошиблись, извини... по спешности... боярин. А сам-то ты кто? Салтыков? Записан... надо покончить!

И труп отца свалился на труп сына; отец пережил сына только несколькими минутами.

Убийцы искали Ивана и Афанасия Нарышкиных. Перебегая из комнаты в комнату, один из них заметил спрятавшегося под стол человека.

– Вылезай, проклятый, а не то приколую к стене!

Вылез карлик царицы Натальи Кирилловны Фомка Хомяков.

– Говори, кукла, куда спрятались Иван да Афанасий Нарышкины? – допрашивали стрельцы.

– Где спрятался Иван – не знаю, а Афанасия указать могу: он в церкви Воскресения на сеньях.

– Туда, братцы! Идем!

Отыскивали пономаря и заставили его отпереть церковь, где действительно укрывался Афанасий Нарышкин.

Этот юный брат царицы мог быть обвинен разве только в одном преступлении: быть Нарышкиным. Отказавшись от боярства и считаясь только комнатным спальником, он не вмешивался в государственные дела и деятельность свою исключительно посвятил благотворительности. Услыхав об участии Матвеева и Долгорукого, он поспешил к священнику церкви Воскресения на сеньях и там, исповедовавшись и причастившись, приготовился встретить смерть безропотно. Только настоятельные просьбы священника заставили его согласиться укрыть себя в алтаре под престолом. К несчастью, в это время проходил мимо карлик Хомяков. Он заметил вход в церковь священника вместе с Афанасием Нарышкиным и выход оттуда уже только одного священника.

Не найдя жертвы ни в церкви, ни в алтаре, стрельцы решились было выходить, когда один из них, просунув под престол пику, скользнувшую по кафтану Нарышкина, приподнял ею покров престола.

– А... вот где он – изменник! – И вся толпа, в одно мгновение бросившись к жертве, вытащила ее из-под престола, и положив на церковный порог, как на плаху, отсекала голову. Затем, разрубив тело на части, окровавленными кусками сбросила на площадь.

Принялись отыскивать Ивана Нарышкина, но во дворце его нигде не нашли. Оставив дворец, мятежники рассыпались по всему городу, разбивая кружалы, пьянствуя, грабя, впрочем, только дома одних убитых бояр и отыскивая тех, которые скрывались и которые числились *в списках*. Тогда погибли укрывавшиеся в домах своих родственник царицы комнатный стольник Иван Фомич Нарышкин, дом которого находился за Москвою-рекою, думный дворянин Илларион Иванов и другие.

Вечером этого же кровавого дня бродячие по городу толпы разбили приказы Судный и Холопий, разломали находившиеся там сундуки и истребили дела кабальные и разного рода записи.

– Всем слугам боярским дана от нас полная воля на все стороны! – кричали мятежники.

Предоставляя таким образом боярским холопам полную свободу, стрельцы надеялись на поддержку их против бояр. Но холопы не приняли никакого участия в мятеже и даже во многих случаях выказывали высокую преданность господам.

Наконец вечером после солнечного заката, оставив в Кремле у всех выходов значительные караулы, стрельцы вернулись в свои слободы.

Коротки майские ночи. Одна заря сменяет другую, освещая мерцающим светом окровавленные трупы, разбросанные члены и куски человеческого мяса. Опустели площади. Кто и не спал, все-таки поглубже упрятался дома. Только не боится юродивый Федюша. И ходит он по площадям, всматриваясь в тела и ворча свою непонятную речь.

## Глава VIII

Те же страшные сцены бесчеловечных убийств и истязаний на другой день 16 мая с раннего утра. Проходя по главной улице Белого города мимо дома князя Юрия Алексеевича Долгорукого, отца убитого накануне Михаила Юрьича, толпа стрельцов ворвалась в дом. Восемидесятилетний старик, огорченный смертью сына, лежал больной. Действительно ли из сострадания к горю отца или притворно, но только стрельцы на коленях просили прощения у старого князя, оправдываясь в убийстве ослеплением раздражения.

Старик, по-видимому, чистосердечно простил убийц и приказал отпереть для них погреб с вином. Но в то время, когда стрельцы перепились, один из боярских холопов передал им, будто старый князь, получив известие о смерти сына, выразился: «Щуку убили, да зубы остались... придет время... перевешают бунтовщиков по всем зубцам городских стен». Злодеи расшвыряли, бросились в комнаты и, стащив старика с постели за седые волосы на двор, убили и бросили на навозную кучу. Потом, захватив в кухне приготовляемую к обеду рыбу, кинули ее на грудь убитого.

– Вот тебе щука! Вот тебе зубы!

В этот день, как и в предшествующий, главные силы стрельцов сосредоточивались около Кремля. Оставался еще в живых один из главных намеченных жертв – Иван Кириллович.

С открытия мятежа отец царицы Кирилл Полуэктович и брат Иван Кириллович в продолжении всего дня скрывались в одной потайной комнате подле спальни царицы, где и провели тревожную ночь. На другой день из опасения другого, более тщательного обыска царского дворца царевна Марья Алексеевна, старшая из царевен, предложила царице перевести их в ее деревянный дворец, подле патриаршего двора, куда трудно было добраться, не зная всех переходов, темных сеней и лестниц. Нарышкины перешли туда.

Опасения оправдались. Прибывшие 16 мая к дворцу стрельцы произвели более тщательный поиск, осматривали подробно все комнаты и тайники, перевертывали постели, сундуки, пробуя в глухих местах копьями. Однако же и теперь все поиски оказались бесплодными.

Напрасно кравчий князь Борис Алексеевич Голицын уверял их, будто Иван Кириллыч уехал из Москвы. Стрельцы не верили и, собравшись на Красном крыльце, вызвали к себе бояр.

– Передайте царице, – кричали они, – что если завтра не будет выдан изменник Ивашка, то все будут изрублены и дворец сожжен.

После этого мятежники с прежними предосторожностями оставили Кремль.

На третий день, то есть 17 мая, снова раздался зловеющий набат и барабанный бой, и снова вся кремлевская площадь наполнилась мятежниками, но только крики их теперь стали грознее и требования настоятельнее.

В страшной тревоге собрались бояре в палатах царицы. Каждый в тайном уголке своего сердца желал избежать личной опасности от дальнейшего укрывательства Ивана Кирилловича, но никто не решался выразить открыто своего желания. Более откровенной выказалась царевна.

– Матушка царица! – сказала она, неожиданно входя в палату. – Стрельцы требуют выдачи Ивана Кириллыча, они грозятся всех изрубить и сжечь дворец.

– Я готов! – вдруг послышался в дверях голос Ивана Кирилловича.

Странное впечатление произвело неожиданное появление молодого человека. Недоумение, сожаление и вместе с тем радость можно было прочитать почти на всех лицах бояр. Царица онемела от горя и отчаяния. Все молчали. Первая пришла в себя царевна:

– Ты жертвуешь собой за всех нас, дядюшка. Жизнь твоя спасет царство, и я завидую тебе...

И в первый раз еще в душе царевны шевельнулось непривычное чувство, так резко противоположное прошлому, мягкое чувство, как будто симпатия к одному из всего ненавистного рода Нарышкиных.

– Я желал бы только, – сказал Иван Кириллович, – прежде, чем явиться к ним, выслушать последнее христианское напутствие.

Царевна поспешила послать к стрельцам оповестить, что требуемый ими Нарышкин передается им после обедни в дворцовой церкви Спаса Нерукотворенного.

В церковь отправились кроме самого Нарышкина, царицы Натальи Кирилловны, царевны Софьи и бояр множество стрельцов, стороживших жертву. После исповеди началась литургия – последняя литургия для несчастного. Теперь только стали совершенно понятными для него, добровольно предававшего себя за спасение других, божественные слова Спасителя об искуплении. Жадно вслушивался он в эти слова, и высокая тайна самоотвержения вливалась в его душу чувство успокоения. Но и в эти последние минуты земная жизнь мгновениями брала свое: мелькали и неуловимо следовали одно за другим представления пережитого, и детские годы, и страстные увлечения юности, и полное гордой надежды будущее. В один час сконцентрировалась вся человеческая жизнь.

Под тяжелым впечатлением важности последнего часа священнодействие проникалось особенным благоговением: понятно и выразительно выговаривались пресвитером слова Спасителя, гармонически-сладко звучали песни и славословия хора. С каким глубоким значением повторялись теперь в душе несчастного слова «да будет воля Твоя» и «остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». И от всего сердца простил он теперь долги своим должникам, мало того, что простил, он просил, он молился за них. Наступило высокое таинство общения с Богом с призывом: «со страхом Божиим и верою приступите». Совершилось таинственное общение, и отразилось оно во всем существе человека. Беспредельною любовью осветился взор, бесконечной приветливостью очертились уста. Легко на сердце, нет и следа животного страха.

Обедня кончилась. Настала последняя и самая тяжкая минута прощания с близкими. Царица-сестра, казалось, потеряла сознание. Она как смотрела на любимца брата, как обвилась руками вокруг его шеи, так и замерла.

Вошел боярин князь Яков Никитич Одоевский.

– Государыня, – сказал он с необычной торопливостью, – стрельцы там... внизу торопят... раздражены... грозятся всех изрубить... – Но не слышала царица слов Одоевского, по-прежнему смотрела она на брата, по-прежнему рука ее судорожно обвивала его шею.

– Ну, прощай, сестра, не мучь себя, – сказал он, с усилием вырываясь из рук сестры, – мне не страшно... готов... помни и молись обо мне...

Какое впечатление произвела эта раздирающая сцена на душу царевны Софьи? Пробудившаяся симпатия в душе ее достигла даже до реального осуществления настолько, насколько способно было это чувство уместиться с ее честолюбивыми стремлениями. Она подошла к иконостасу, взяла с налоя икону Божией Матери и, отдавая ее царице, сказала:

– Передай этот образ брату, может быть, при виде его стрельцы смягчатся и он спасется от смерти. – Слова эти, сказанные громко и с особенным ударением, очевидно, предназначались мятежникам.

Приняв образ, Иван Кириллович спокойно пошел к дверям золотой решетки в сопровождении царицы и царевны. Внушительный намек царевны не остался бесплодным. Молодой человек не был растерзан, как его предшественники, но тем не менее участь его еще более отягчилась. Ожидавшие у золотой решетки стрельцы взяли его из рук сестры и племянницы, вывели из Кремля и повели в Константиновский застенок.

Там за столом с свертками бумаг сидел подьячий, один из преданных и усердных слуг царевны.

Начался допрос – с *пристрастием*.

– Признавайся, боярин, – допрашивал подъячий, – замышлял ли извести благоверного царевича Иоанна Алексеевича? Не сознаешься?.. Надо пытаться...

Жестокие страдания от пытки измучили страдальца, но не привели к сознанию в ложном обвинении.

– Опять не сознаешься в злом умысле? Молчишь? Впрочем, молчание можно принять и за сознание. Ну, так дальше... Надевал ли на себя царскую порфиру? Молчит... стало, согласен, сознался... Соображая же теперь твою государеву измену, доказанную собственным сознанием, с силою второй статьи главы Второго Уложения ты подлежишь смертной казни.

Станный суд и – достойный его приговор, на законность или незаконность которого никто не обращал никакого внимания.

Стрельцы повели осужденного к Красной площади.

В это время к Константиновскому застенку привели еще нового преступника, одетого в лохмотья доктора Стефана Гадена. По рассказам прибывших, они поймали его переодетого нищим в немецкой слободе и хотели было тут же покончить, да он, чернокнижник, запросил суда.

– Какой суд чернокнижнику! – заревели стоявшие кругом стрельцы. – Все мы знаем, как он яблоком отравил покойного государя царя Федора Алексеевича! На Красную его!

Нарышкина и Гадена повели обоих на место казни.

Красная площадь в те дни служила главным средоточием злодейств. На ней по преимуществу совершались казни, и на нее же приносили и сваливали тела тех бояр, которые были убиты в Кремле.

– Дорогу! Дорогу боярину! – кричали с хохотом стрельцы, волоча через Никольские или Спасские ворота обезображенные трупы. – Едет боярин, кланяйтесь его чести!

Приведя с ругательствами на площадь Нарышкина и Гадена, стрельцы раздели их, подняли на копыя и, сбросив на землю, разрубили по членам. Отсеченные головы подняли на пики.

В эту минуту прибежал на площадь старик отец Кирилл Полуэктович. Утомленный предшествующей бессонной ночью, он заснул в скрытом тайнике царевны Марьи Алексеевны, куда был отведен вместе с сыном Иваном. Этим-то сном и воспользовался сын, добровольно отдаваясь в руки убийц.

Проснувшись, отец догадался о поступке сына, бросился искать его и вот, прибежав на площадь, увидел на копье голову любимца.

Старик лишился чувств.

– Поднимите-ка и его, братцы, что ему горевать, – заговорили было некоторые стрельцы.

– Нет, братцы, – отвечали другие, – кончать его не указано. – И после небольшого совещания старика отправили в Чудов монастырь, где потом архимандрит Адриан постриг его в монашество под именем Киприяна. Вскоре несчастный отец перевезен был на покой в Кириллов монастырь на Белоозеро.

В эти дни погибли также боярин Иван Максимович Языков, скрывшийся было в доме священника церкви Св. Николая на Хлыпове, но преданный холопом, Василий Филимонович Нарышкин, сын доктора Гадена, думный дьяк Аверкий Кириллов – заведовавший приказом Большого прихода, доктор Гутменш и другие. Всего же в эти дни погибло шестьдесят семь жертв, следовательно, одиннадцатью жертвами более, чем значилось в списке, переданном Милославским стрелецким полковникам.

Нарышкинская партия обессилена; крупные ее представители – Артамон Сергеич, опасный по опытности государственной, и Иван Кириллыч, опасный по энергии и смелости, – исчезли – исчезли также и все влиятельные бояре этой партии. С казнью Ивана Кириллыча задача мятежа выполнена, и дальнейшее продолжение не имело бы смысла. И действительно, вечером после убийства Ивана Нарышкина стрельцы воротились в свои слободы, не оставив

в Кремле значительных сторожевых постов. Правда, в Москве еще не водворилось спокойствие, бродячие шайки все еще шатались по улицам, грабя, пьянствуя и распевая непристойные песни, это были эпилоги кровавой драмы.

Первая главная часть задуманного дела выполнена: Нарышкиных нет, но тем не менее на престоле оставалась отрасль Нарышкиных – царь Петр Алексеевич. Необходимо было если не совершенно устранить, то по крайней мере совместить с его законным правом еще более веское право первородства, право царевича Ивана Алексеевича.

Царица Наталья дрожала, уединившись в дворец, боясь разлуки с сыном, боясь насильственного заключения в монастыре, дрожали и бояре, попрятавшись в своих хоромы, заперлись посадские и торговые люди, закрыв свои лавки и торговые помещения, на улицах редко можно было видеть прохожего не стрельца – разве уж только выгоняла самая крайняя нужда. Не боялась стрельцов, не пугалась их буйства одна только царевна Софья. Напротив, она смело распоряжалась, и они в ее руках делались верными, хоть и не всегда послушными орудиями. Среди неистовой, буйной толпы мятежников видел ее датский резидент Бутелант фон Розенбуш, и лично сам слышал этот резидент, как князь Иван Андреич Хованский спрашивал царевну, не изгнать ли Наталью Кирилловну из царского дворца. Этот же резидент в донесении своему двору объясняет свое опасение от ярости стрельцов, принявшего его за лекаря Даниила, только объявлением его проводников, что он посланный и говорил с царевной.

И благодарил же царевна Софья Алексеевна стрельцов за верную службу. Не успел еще кончиться мятеж, как каждый из стрельцов получил по 10 рублей, если не более, так как в награду им истратилась огромная сумма, какая могла только набраться в то время, и весь стрелецкий корпус получил почетное название надворной пехоты, в начальники которой назначен любимый ими князь Иван Андреич Хованский.

Опираясь на такую силу, царевна могла смело идти вперед – и она пошла. Тотчас же после мятежа забегала по стрелецким слободам доверенная ее постельница Родимица с тайными поручениями и приказами: результат этих посещений не замедлил обнаружиться.

Не прошло недели (23 мая), как явились во дворец выборные от стрелецкого войска, объявившие через своего начальника Хованского желание свое и чинов Московского государства видеть на престоле обоих братьев. При этом в челобитной своей добавляли, «если же кто воспротивится тому, они придут опять с оружием и будет мятеж немалый». Стрельцы стали понимать свою решающую силу и стали пользоваться ею сначала по указаниям сверху, а потом и по собственной воле.

Для рассмотрения требования стрельцов собралась Государева дума, которая, не смея противоречить, определила собрать для решения вопроса собор, пригласив к участию выборных из всех сословий. Собравшийся собор, приняв в руководство примеры разделения власти между двумя лицами из византийской истории, решил совместное царствование обоих братьев, а патриарх с духовенством, отслужив торжественное в Успенском соборе благодарственное молебствие, благословил на царство обоих братьев – Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича.

Новое изменение составляло, очевидно, только переходный шаг, так как оно по слабости и болезненности Ивана Алексеевича не изменяло сущности дела. И вот не далее как через день (25 мая) снова в Кремль явились выборные от стрельцов по одному от каждого полка «для устроения порядка в государстве». Этот порядок заключался в назначении первым царем Ивана Алексеевича, а вторым уже – Петра Алексеевича. Послушный воле стрельцов, новый собор 26 мая утвердил этот порядок, и цари снова приняли поздравление от всех чинов, несмотря на пассивный протест со стороны Ивана Алексеевича.

Заручившись в этих определениях твердой почвой, царевна Софья Алексеевна решительнее двинулась далее. 29 мая стрельцы объявили Государевой думе новую свою волю, чтоб правительство по болезненному состоянию старшего царя и по малолетству второго было вру-

чено их сестре Софье Алексеевне. Исполняя эту волю, цари и царевны, патриарх и бояре обратились к царевне Софье с молением о принятии на себя правления царством. Долго отказывалась царевна, долго не соглашалась на *общее* желание и только после продолжительных общих настойчивых просьб согласилась наконец взять себе управление государственными делами. «Для совершенного уже утверждения и постоянной крепости» новая правительница повелела во всех указах имя свое писать с именами государей, ограничиваясь титулом великой государыни, благоверной царевны и великой княжны Софьи Алексеевны.

## Глава IX

В богато убранной шелком, парчой и золотом рабочей палате царского дворца правительницы царевны Софьи Алексеевны докладывали два боярина – Иван Михайлович Милославский и князь Иван Андреевич Хованский.

Новый начальник стрельцов, Иван Андреевич, мог по справедливости назваться типом боярской сановитости того времени. Далеко еще не старый (ему было под пятьдесят), он обладал хорошим физическим развитием, а густые с проседью волосы, длинная, окладистая, полуседая борода, густые, темные, полунахмуренные брови, блестящие черные глаза, правильный орлиный нос, суровое и важное выражение всей фигуры заметно выделяли его в среде опухлых и расплывшихся от жира бояр. Это был цельный представитель старой жизни с ее замкнутостью, фанатизмом и беспредельным тщеславием. Не обладая обширным умом, остававшийся от стрелецкого мятежа постоянно в тени и обязанный настоящим высоким положением дружбе с Милославским и преданности интересам царевны, он с замечательной наивностью тотчас же нашел себя не только в уровне с передовыми людьми, но даже выше их, нашел себя вдруг и достойным и способным стать во главе государственного движения из того только, что стал во главе всерешающей грубой силы. Впрочем, такие типы еще не редкость и в наше время, но только в скорлупе более элегантной.

– Не скупись, государыня, – говорил он царевне, – стрельцы служили тебе верой и правдой... отблагодари и ты их по-царски. Они тебе пригодятся и впредь...

Легким движением сдвинулась морщинка на лбу правительницы... неприятное впечатление произвело на нее это напоминание, как напоминание старого долга, долга еще не оплаченного и с которым сливается и напоминание и нечистого дела, породившего заем.

– Я готова награждать по-царски за заслуги, оказанные государству, но я замечаю, князь, – и в медленном тоне царевны слышалось особенное ударение, – что ты пришиваешь к государственным делам какие-то личные счета, которых не было и не могло быть. Стрельцы были недовольны неслыханными притеснениями и корыстием своих начальных людей, как были недовольны посадские взятками почти во всех приказах... стрельцы видели, как их начальных людей поддерживают и покрывают временщики Нарышкины, злобились на них и опасались, как бы эти временщики, повыскакивавшие в бояре чуть не с пеленок, не укрепились еще больше за своим родичем – ребенком и не извели бы сначала царевича Ивана, а потом и их самих. Но лично мне их мятеж принес нежеланную тягость. Видя общее настроение, шатость и повсюду зло, я против воли своей согласилась на общие моления править государством по моему разуму и по совету, – прибавила она с ласковой улыбкой, – опытных и преданных мне слуг... твоих, например, вот боярина Ивана Михайловича... Василия Васильича...

Во все продолжение внушительной речи Иван Михайлович, казалось, весь погружен был сосредоточенным рассматриванием узорчато-отчеканенной большой серебряной чернильницы в виде глобуса на столе правительницы.

– Но, царевна, разве освободить народ от притеснителей – не заслуга, разве не должна быть награждена? Разве не должны мы все сделать, чтоб успокоить волнение и шатость умов? – сказал князь Хованский, насупливая еще более густые брови.

– Боярин, – сказала правительница, обращаясь к Милославскому, – укажи нам, какие награды даны стрельцам.

– Первая награда, государыня, именоваться впредь вместо стрельцов – надворной пехотой, вторая – выстроить каменный столб на Красной площади у Лобного места, с прописанием преступлений избиенных. Потом жалованною грамотою шестого июня повелено: деяния стрельцов впредь называть побиением за дом Пресвятой Богородицы, воспрещено попрекать их изменниками и бунтовщиками. Затем от твоего доброго сердца, царевна, пожалованы им

многие льготы, увеличено жалование, служба в городах определена только в один год, строго воспрещено начальным людям назначать стрельцов на свои работы и наказывать телесно без царского указа, прощены разные недоимки, предоставлено право судиться с кем бы то ни было в своем Стрелецком приказе, куда они могут приводить всякого, кто объявится в каком-либо *воровстве*, указано, чтоб во всех приказах дела их вершились без волокиты. А для временной награды деньгами ты, царевна, приказала стольнику князю Львову ехать в монастыри на Двине за монастырской казной да указала еще выслать таможенных и кабацких голов с деньгами в Москву.

– Что ж, князь, разве этих наград от меня мало? Чего ж ты хочешь еще?

– Стрельцы просят, царевна, дозволения о своих нуждах прямо просить тебя чрез своих выборных.

– Я согласна... но без особого указа. Все или еще что есть?

– Стрельцы просят даровать им самим своим судом взыскивать с своих начальных людей все несправедливо удержанные у них деньги и вычеты их жалования.

– Об этом, князь, по-настоящему-то не должно быть и речи. Все долги свои стрельцы выколотили уж с полковников правезом, а позволять это и на будущее, значит, потакать своим волям и буйствам... Впрочем, я подумаю... посоветуюсь... Все?

– Да вот еще, царевна, и на этом стрельцы особенно стоят. Большая часть стрельцов держится старой, истинной веры... Они желают просить тебя, царевна, дозволить им словопрение с патриархом о вере на площади. Так как они надеются уличить обманы новых толкований... то отменить неподобные меры, установленные покойным государем царем Федором Алексеевичем.

– А сколько, полагаешь, князь, раскольников в стрелецких полках?

– До подлинности сказать не умею, государыня, а только большая часть их держится старой веры. Вот на днях весь Титов полк положил единодушно взыскать старую веру...

– А как ты сам думаешь об этом, князь?

– По моему разуму, государыня, нужно уважить жалобу стрельцов. В словопрении обнаружится, которая сторона права, которая вера настоящая, истинная... тогда уничтожится всякое разномыслие.

Дело принимало серьезный оборот. Просвещенный ум царевны вполне понимал всю нелепость фанатического ослепления раскольников. По ее же мнению были сожжены всенародно главные ересиархи Аввакум и Лазарь, по ее же мнению установлены были жестокие меры сожжения в срубках против закоренелых раскольников, а теперь приходилось или стать самой против той же силы, которая подвела ее к престолу, или стать на стороне их, в ряды грубого бессмысленного фанатизма, видевшего в старом свой заветный идеал и с отвращением отталкивавшего всякое просвещенное стремление. Вопрос, поставленный князем, не допускал никакого примирения, никаких полумер и выжиданий. Она сама испытала, к чему может привести, когда управляющая сила в руках одних животных инстинктов.

– Я подумаю, князь, о твоём предложении, – ответила Софья Алексеевна после нескольких минут молчания. – Ты знаешь, как я ценю своих верных стрельцов... я желала б оказать им милость, но в этом деле нужна осторожность... нельзя восстановить...

– Пока за тебя, государыня, стрельцы, тебе бояться нечего и некого. Подумай. Вот недели через две будут венчать на царство обоих государей... стрельцы бояться, как бы венчание не было по никоновскому чину. Нельзя ли, государыня, словопрение назначить до этого времени. Опасно раздражать стрельцов.

– Я не боялась и не боюсь стрельцов, князь, и теперь, когда у них любимый начальник, мой самый верный и преданный слуга и друг...

В голосе царевны слышались мягкость и добродушие, в глазах выражалось столько дружеской приветливости... опутала эта ласка сурового князя и верил он ей, как всегда охотно верится в счастливую будущность.

– Теперь прощай, князь, будь уверен в моем неизменном расположении. Успокой стрельцов. Да, чуть было не забыла спросить тебя: какие полки ты полагаешь назначить на службу по городам? Не Титов ли?

– Об этом не заботься, государыня, это мое дело, и я распорядюсь *сам*, когда *мне* что будет нужно, – отвечал князь, низко откланиваясь царевне и гордо оглядев Милославского.

Собрался уходить и Иван Михайлович, но царевна удержала его. Хованский вышел, бросив искоса суровый взгляд на оставшегося боярина.

– Ну, что скажешь? – спросила царевна, обращаясь с дружеской короткостью к родственнику. – Ведь по твоему совету я назначила стрелецким начальником Ивана Андреича.

– Вижу сам, государыня. Ошибся. Я знал его, как человека недалекого и тебе преданного, стало, самым подходящим. Не чаял я за ним такой гордости.

– Известно, чем глупей человек, тем больше думает о себе, тем больше в себе уверен. Да не в этом теперь дело... каяться поздно. Скажи – что делать?

– Зачем тебе, царевна, мой глупый совет, есть советники у тебя поопытней да поумней, к ним оборотись.

– На каких советников намекаешь, Иван Михайлович?

– Да вот хоть бы князь Василий Васильич. Не успела и осмотреться, как пожаловала его в ближние, да в оберегатели большой и малой печати. Он человек умный... советный. А мы что? Нам можно только лоб подставлять, а потом и в сторону...

– Грешно тебе, Иван Михайлович. Не из одного ли мы рода? Не одни ли у нас интересы?

– Куда уж мне, царевна, я и явился-то к тебе только попрощаться.

– Как? Ты оставляешь меня на первых же порах? Ты уезжаешь? Куда? Надолго ли?

– Вотчины свои осмотреть, царевна. Давно в них не бывал, а главное – из Москвы нужно скорей выбраться.

– Отчего?

– Разве сама не видишь, каким зверем смотрит на меня князь Иван Андреич, а он теперь человек властный. Прикажет какому ни есть стрельцу... изведут ни за что ни про что.

– Не осмелится.

– Он-то? Плохо же ты его знаешь, государыня. Если ты хочешь правды, так я тебе скажу, что настоящий-то государь он, а не ты.

Софья Алексеевна задумалась.

– Вот, государыня, ты не соизволила стрельцам самовольно расправляться с своими начальными людьми, а он без твоего разрешения позволял, да и теперь запрета не наложит.

– Я властна его сменить... казнить...

– Властна? Нет, Софья Алексеевна, власть-то у него, а не у тебя. Его стрельцы любят, родным отцом величают, за него головы готовы положить, а стрельцы ноне, сама знаешь, сила... ничего не поделаешь въявь.

– Я найду средства...

– Ну это другое дело, если успеешь вызвать его из Москвы, а здесь нельзя... стрельцы берегут.

– Я подумаю и... – хотела что-то добавить царевна и остановилась.

– Подумай, государыня, а меня теперь уволь.

– Ну как хочешь, Иван Михайлович. Прощай. В какую вотчину едешь?

– И сам еще не знаю, государыня. Встретится во мне надобность, так потрудись повестить на дом, там уж знают, где меня найти.

Царевна протянула ему руку. Иван Михайлович горячо поцеловал ее.

## Глава X

Насмешливой улыбкой проводила уходившего боярина царевна. «Все они таковы, – думала она, – все они готовы есть друг друга, унижать, губить, всеми средствами очищать себе дорогу вперед. А к чему приводит эта дорога-то? Вот и мое желание исполнилось, а счастлива ли я? Я думала, какое будет счастье, когда унижу, уничтожу женщину, которая ввела в нашу семью раздор, которая отвратила от родных детей сердце отца и государя. Я достигла цели. Эта женщина сброшена, таится, никто в ней не ищет, ближние ее уничтожены. А счастлива ли я? Нет... я дошла до высоты, до которой не доходила еще ни одна женщина в Московском государстве... мне повинуются миллионы людей, мое слово может осчастливить, обогатить и уничтожить тысячи людей, моего взгляда ловят, в моей воле – воля земного бога, управляющего царством. Все это я знаю... чего же мне еще и куда мне идти? Я поведу мой народ к свету. Все силы мои будут посвящены этому полудикому, но верному народу, я открою ему лучшую будущность, сведу его с другими народами, покажу ему, что значит просвещение, наука, искусства, имя мое будут благословлять в потомстве, я буду идти к моей цели твердо, и горе тем, кто станет мне на дороге. Уж, конечно, я не побоюсь женщины без воли и силы или ребенка – товарища уличных мальчишек. Я не остановлюсь ни перед чем. Я теперь – судьба народа и останусь ею. А между тем, – и мысль ее снова перебежала к себе, – счастлива ли я? Нет... При счастии я жила бы полною жизнью ума и сердца, не было бы тоски, не чувствовала бы себя одинокой... А разве я не люблю и разве меня не любят?.. Да любит... я счастлива его любовью... Только любовь ли это? не просто ли увлечение?»

И как будто ответом на этот вопрос вошел без доклада князь Василий Васильич Голицын. Князю было лет сорок, но по наружности казался млажавей. Среднего роста, стройный, с правильными, нерезкими чертами лица, с нежною белизною, с обычной приветливой улыбкой, с умным взглядом почти всегда полуопущенных глаз, он мог назваться еще красивым и привлечь внимание женщины.

– Не помешал тебе, царевна? – ровным голосом сказал князь, входя без торопливости и волнения.

– Ах, Васенька, Васенька! Можешь ли ты когда-нибудь помешать мне... – И Софья Алексеевна с необычной порывистостью поднялась к нему. Руки ее крепко обвили около шеи князя и губы горячо прильнули к его губам.

– Я ждала тебя, Васенька, и задумалась. Отчего запоздал?

– Надо было повидаться с патриархом, условиться с ним, а потом распорядиться, моя дорогая, насчет церемонии венчания обоих царей двадцать пятого июня.

– Ты не ввел никаких перемен против прежних?

– Никаких. Я прочту тебе весь порядок: поутру все бояре соберутся с окольными и думными дворянами у государей в Грановитой палате, а в сенях перед палатою будут находиться стольники, стряпчие, дворяне, дьяки и гости – в золотом платье. Государи прикажут мне, князю Голицыну, как сберегателю большой и малой государевой печати, принести с казенного двора Животворящий Крест и святые бармы Мономаха для царевича Иоанна и другие точно такие же, сделанные нарочно для царевича Петра. По принесении все эти царские утвари бояре отнесут на золотых блюдах под пеленами, унизанными драгоценными камнями, в Успенский собор и передадут патриарху. В соборе же устроено будет против алтаря у задних столпов высокое чертожное место с двенадцатью ступенями, укрытое красным сукном. На чертожном месте поставлено будет двое кресел, обитых бархатом и украшенных камнями, а налево кресло для патриарха. От чертожного места до алтаря с обеих сторон устроены будут две скамьи, покрытые золотыми персидскими коврами, для митрополитов, архиепископов и епископов. Когда бояре передадут царские утвари патриарху, он положит их на шести налоях, поставленных на

амвоне, и пошлет меня с боярами звать царей в собор. Государи изволят идти в храм с Красного крыльца. Впереди государей пойдут окольнічии, думные дьяки, стольники, стряпчие, дворяне и протопоп с крестом в руке, окропляющий путь их святою водою, позади же государей будут следовать бояре, думные дворяне, дети боярские и всяких чинов люди, а по сторонам поодаль солдатские и стрелецкие полковники. Затем по правую и по левую руку от Красного крыльца будут стоять ряды стрельцов.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.